П. С. Рейфман

ЦЕНЗУРА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ, СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Курс лекций

Том 1
Цензура в дореволюционной России

Выпуск 2
Конец 1820-х гг. – 1855 г.

Научный редактор Любовь Смирнова

Интернет-издание

Москва – Санкт-Петербург – Нетания

2023

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТЯГОСТНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ

(Поэт Пушкин и Император Николай).

Часть первая.

Даже царь приглашал его в дом,
Желая при этом
Потрепаться о том о сем
С таким поэтом
……..
Любил бумагу марать
Под треск свечки!
Ему было за что умирать
У Чёрной речки.

(Б. Окуджава)

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой;
Пищит бедняжка вместо свисту –
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

(Г. Р. Державин)

Освобождение Пушкина из ссылки. Встреча его с царем. Обоюдное приятное впечатление. Пожелание царя стать единственным цензором Пушкина. Стихотворения Пушкина «Стансы», «Друзьям», «Арион». Раздумья Пушкина об уроках декабрьского восстания. Донесения о благонамеренном поведении Пушкина. Отношения с А.Х. Бенкендорфом, переписка с ним. Записка А.С. Пушкина «О народном воспитании». Поручение Николая I Пушкину писать историю Петра Великого. Возвращение на службу в Коллегию иностранных дел. Поездка на Волгу. Собирание материалов для Истории Пугачева. Разрешение царем «Истории пугачевского бунта». Пушкин и Вальтер Скотт. Оценка Пушкиным событий июля 1830 года во Франции, восстания в Польше. «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Волнения в Новгородских военных поселениях. Стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один». Избрание в Российскую Академию.

Рассматривая цензуру конца 1820-х – первой половины 1830-х гг., нельзя не остановиться на вопросе об отношениях Пушкина и Николая I. То, о чем пойдет речь, выходит иногда за строгие рамки нашего курса, но поскольку Николай – верховный цензор Пушкина, тема «Поэт и царь», по моему мнению, должна найти здесь отражение. И не только из-за того, что иначе в нашем изложении был бы существенный пробел, а и потому, что в её трактовку всё же можно внести некоторые уточнения.

На тему «Поэт и царь» написано множество работ, сделано огромное количество докладов. Несколько огрубляя и схематизируя этот материал, его можно свести к двум концепциям.

Одна из них Пушкина революционизирует, сближает его с декабристами**.** Согласно этой концепции, Пушкин – враг существующего порядка, властей, царя; поэт-революционер, атеист, единомышленник декабристов. Николай – ни на мгновение не вызывающий сочувствия жестокий и лицемерный монарх, ненавидящий поэта, обманывающий его, стремящийся использовать Пушкина в своекорыстных целях. Таковы поэт Пушкин и

император Николай I в работах академиков М.В. Нечкиной, Д.Д. Благого и в большинстве работ, опубликованных в России в середине XX столетия. У разных исследователей эта позиция проявлялась в различной степени, но всё же была общей для советского литературоведения, определяя иногда выводы даже весьма почтенных ученых.

Поклонники другой концепции предлагают консервативно-религиозное, антизападное освещение деятельности Пушкина: после восстания декабристов, особенно в 1830-е гг., он отказался от «грехов юности», стал верноподданным, религиозно-православным, примирился с царем. Царь искренне доброжелательно относился к Пушкину, оказывал ему всяческие благодеяния, отношения между ними были хорошими, хотя и возникали отдельные сложности. Появляется православно-народно-монархический Пушкин. Эта концепция, характерная для многих дореволюционных работ, заметна и в ряде исследований XX – начала XXI века[1]. Она становится всё более модной и связана с «пересмотром ценностей», когда плюсы меняются на минусы и наоборот. Как правило, это сторонники так называемой «русской идеи», противопоставления России Западу (идея отнюдь не новая и вряд ли прогрессивная). Её пропагандируют многие современные известные литературоведы[2]. Условно их можно было бы назвать неославянофилами.

Существуют исследования, не укладывающиеся в схематические рамки ни первой, ни второй концепции. Это относится, прежде всего, к лучшим работам классического пушкиноведения (Б.В. Томашевский, С.М. Бонди, М.А. Цявловский). Много ценного вышло и в последние годы, особенно в связи с юбилеем Пушкина.

Обращу внимание на то, что степень внешней близости Пушкина с императором, двором весьма велика. Николай I лично знал Пушкина, неоднократно встречался с ним, беседовал, читал его произведения. Всесильный А.Х. Бенкендорф, выполняя волю царя, регулярно переписывался с Пушкиным. С ним беседует царица, великий князь Михаил Павлович, М.М. Сперанский и пр. Для того времени такая ситуация не характерна. Исключение – Н.М. Карамзин и В.А. Жуковский. Но Карамзин – официальный историограф, а Жуковский – наставник наследника престола, цесаревича Александра Николаевича

И последнее, что следует сказать, прежде чем обратиться к конкретному материалу: многие факты, относящиеся к теме «Поэт и царь», хорошо известны и интерпретированы исследователями. Я напомню их и попробую систематизировать с учетом основной проблематики нашего курса. Но надеюсь, что скажу и нечто новое, что предлагаемая часть курса будет не совсем безынтересной и бесполезной.

* * *

Рассказ об освобождении Пушкина из ссылки начнем с несостоявшейся переписки поэта с Александром I. Напомню некоторые факты. 20 апреля (не позднее 24) 1825 г. Пушкин пишет Императору короткое письмо, черновик которого сохранился. Под предлогом необходимости лечения Пушкин просит разрешить ему поехать «куда-нибудь в Европу» (X, 140)[3]. Тогда же, В.А. Жуковскому: «Смело полагаясь на решение твое, посылаю тебе черновое к самому Белому; кажется, подлости с моей стороны ни в поступке, ни в выражении нет» (X, 141). В.А. Жуковский посчитал разумным не передавать письмо

---

[1] Подобные тенденции ощущаются отчасти и в очень хорошей, по моему мнению, книге, написанной в эмиграции, в Лондоне, и впервые опубликованной в Париже: Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. т. 1. Париж: YMCA-Press, 1929. Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. 2. Париж: YMCA-Press, 1948.

[2] Особенно прямолинейно она выражена в книгах, статьях, докладах В. С. Непомнящего (см.: «Пушкин. Русская картина мира». М.: «Наследие», 1999).

[3] Цитаты из произведений, писем, дневников А. С. Пушкина даны по Полному собранию сочинений в 10 тт. (издание третье). М.: «Наука», 1963-1965 гг. с указанием в тексте тома (римской цифрой) и страницы (арабской), за исключением особо оговоренных случаев.

адресату, а предложить матери поэта, Надежде Осиповне Пушкиной, обратиться к Императору. 6 мая 1825 года Надежда Осиповна написала и вскоре подала на имя Александра I прошение о разрешении старшему ее сыну «поехать в Ригу или какой-нибудь город» для лечения десятилетнего аневризма ноги. Вскоре было получено высочайшее повеление, по которому поэту было позволено «приехать в г. Псков и иметь там пребывание до излечения от болезни» с тем, чтобы псковский гражданский губернатор имел «наблюдение как за поведением, так и за разговорами г-на Пушкина» [1].
Тотчас по получении этого известия, Пушкин довольно язвительно пишет Жуковскому: «Неожиданная милость его величества тронула меня несказанно <…>. Я справлялся о псковских операторах; мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей. <…> Я всё жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу, а лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства» (X, 152). Спустя месяц (23 июля) – А. Дельвигу: «Зачем было заменять мое письмо, дельное и благоразумное, письмом моей матери? Не полагаясь ли на чувствительность.....? ..... Ошибка важная! В первом случае я бы поступил прямодушно, во втором могли только подозревать мою хитрость и неуклончивость» (X, 157). И вскоре (конец июля – 22 сентября 1825г.) Пушкин предпринимает еще одну попытку поступить «прямодушно». На этот раз письмо довольно пространное и предельно откровенное. Поэт вновь просит разрешения на пребывание в одной из двух столиц или «назначить мне какую-нибудь местность в Европе, где я (мог бы) позаботиться о своем здоровье» (X, 183, 792). Но и это письмо не было отослано царю.

В письмах В.А. Жуковскому, А.А. Дельвигу, П.А. Вяземскому Пушкин неоднократно возвращается к теме разрешенной императором поездки в Псков для лечения и своем к ней отношении. Наиболее жестко высказано оно в письме П.А. Вяземскому: «Псков для меня хуже деревни, где по крайней мере я не под присмотром полиции. <…> Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом к избавлению, ultima ratio libertatis – и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку!» (X,180- 181). К моменту написания этого письма (середина сентября 1825 г.) окончательно рухнули как надежды на официальное разрешение, так и планы на самовольный отъезд за границу[2].

В ноябре 1825 г. Александр I умер. Пушкин полагает, что на престол взойдет великий князь Константин, имевший репутацию либерала. Поэт полон радостных надежд. В письме П. А. Плетневу от 4–6 декабря 1825 г. Пушкин затрагивает вопрос о возможности своего освобождения («слушай в оба уха»), о помощи друзей, которые, вероятно, «вспомнят о нем» (т.е. ему помогут. – ПР). Прямо подсказываются возможные ходатаи: «покажи это письмо Жуковскому». Здесь же намечается линия нужного поведения: не просить у царя позволения жить в Опочке или Риге, «а просить или о въезде в столицы, или о чужих краях». В столицу хочется для друзей, но, конечно «благоразумнее бы отправиться за море», «Что мне в России делать?». Восклицание Пушкина о своем пророческом даре: «Душа! я пророк, ей богу пророк! Я «Андрея Шенье» велю напечатать

---

[1] Цявловский М. Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина. 1799-1826. Л.: Наука, 1991. С.544.

[2] О возможном побеге Пушкина за границу давно уже «судачили» в Петербурге, что Пушкину «дьявольски» не нравилось. Об этом он писал брату еще в декабре 1824 года (X, 117). Подробнее об этом см. : Цявловский М. А. Тоска по чужбине у Пушкина // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине / АН СССР. О. М.: Изд-во АН СССР ОЛЯ, 1962. С. 131—156; Вольперт Л. И. «Вместо послесловия к пьесе "Семь дней в Дерпте". Решился ли бы Пушкин на побег за границу?». – http://www.ruthenia.ru/volpert/play/kats.htm ; Существует очень любопытный способ реконструкции этой ситуации. См.: Вольперт Л. И. «Семь дней в Дерпте» // Беллетристическая пушкиниана XIX – XXI веков. Современная наука – вузу и школе. Псков: изд. ПГПИ им. С.М. Кирова, 2004. С. 415 – 442.

церковными буквами во имя отца и сына…»[1]. И в конце письма – призыв к друзьям помочь ему выбраться из ссылки: «выписывайте меня, красавцы мои, а не то я не прочту вам трагедию свою» («Борис Годунов». – ПР) (X, 195). П.А. Плетневу же адресовано и письмо, написанное не позднее 25 января 1826 г., т.е. после восстания декабристов и воцарения Николая I. Настроение здесь другое: «скучно, мочи нет». Тревожные вопросы: «Что делается у вас в Петербурге? я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня в Нерчинске». Но и здесь звучит надежда на нового царя, на милость царскую: «Ужели молодой царь не позволит удалиться куда-нибудь, где потеплее? – если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге – а?». Поэт упоминает о своей шестилетней опале, о том, что в 1824 г. он сослан за две нерелигиозные строчки: «других художеств за собою не знаю» (X, 197) (т. е. поэт приводит доводы, на которые возможный заступник может ссылаться. – *ПР*). В том же тоне выдержано письмо В.А. Жуковскому от 20 января 1826 г.: «Мудрёно мне требовать твоего заступления перед государем; не хочу охмелять тебя в этом пиру». Но при этом Пушкин снова приводит доводы, которыми может воспользоваться заступник: «Вероятно правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел – но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? о заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности». И здесь же высказываются опасения: «Всё-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно». Далее идет перечень того, что можно поставить ему в вину: дружба с В.Ф. Раевским, генералами П.С. Пущиным и М.Ф. Орловым; участие в Кишиневской масонской ложе; связь «с большей частью нынешних заговорщиков». Но ведь не это стало причиной опалы: покойный император мог упрекнуть его только в безверии (вновь подсказка возражений на возможные обвинения, линии поведения при заступничестве. – ПР). Письмо Пушкин просит показать Н.М. Карамзину и посоветоваться с ним. Как итог: «Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?». При этом Пушкин понимает, что примирение с властью возможно на определенных условиях: «положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc» (X, 198).

Характерно, что в этом письме, очень важном для Пушкина, связанном с его долгожданным освобождением, поэт задает вопрос о судьбе братьев Раевских[2], беспокоится о них: «оба ли Раевские взяты, и в самом ли деле они в крепости? Напиши, сделай милость». В тот же день - А.А. Дельвигу: «Мне не сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня» (X, 197–198). В начале февраля – ему же: «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародование заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни – как фр.<анцузские> трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (X, 200). 20 февраля Пушкин благодарит Дельвига за известия о В. Кюхельбекере, справляется об ещё одном «лицейском брате» – И. Пущине, о других обвиняемых: «Мне сказывали, что 20, т.е. сегодня, участь их должна решиться – сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость царскую. Меры правительства

[1] Французский поэт Андре Шенье (André Marie de Chénier*)* лишь один день не дожил до гибели тирана (Робеспьера), до своего освобождения. Об этом идет речь в указанном стихотворении Пушкина: «И час придет…и он уж недалек: Падешь, тиран! <…> И казней нет, и всем свобода».

[2] Александр и Николай Раевские, сыновья героя войны 1812 года генерала Н.Н. Раевского.

доказали его решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется, не нужно. Правительство может пренебречь ожесточение некоторых обличенных» (X, 201).

Узнав о казни декабристов, Пушкин 14 августа пишет Вяземскому, что всё же надеется на коронацию, на помилование остальных осужденных: «повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». Из этого же письма ясно, что Пушкин уничтожил свои записки: «сохранил я только несколько листов и перешлю их тебе, только для тебя» (X, 211). То есть он продолжает опасаться и за себя: близость его со многими декабристами была хорошо всем известна. Еще в июле 1826 г. – тому же Вяземскому: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков» (X, 211).

В начале февраля 1826 г. в письме А.А. Дельвигу Пушкин приводит те же доводы, что и В.А. Жуковскому, и П.А. Плетневу: «Конечно я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый 6 лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я конечно не мог доброжелательствовать покойному царю хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам – но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и конечно это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании [конечно] более благоразумия, нежели гордости с моей стороны» (X, 199–200). 3 марта 1826 г. – Плетневу: «Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге» (X, 203). И, наконец, 7 марта 1826 г. В.А. Жуковскому, в письме, несколько удивившем адресата[1], после краткого изложения истории опалы: «Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (X, 203–204).

Надеясь на милость царя, Пушкин не перестает думать о возможности отъезда из России. Об этом свидетельствует полушутливый конец письма к Вяземскому от 27 мая 1826 г. в связи с упоминанием об автобиографичности четвертой главы «Онегина»: «когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где же мой поэт? <…> услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится – ай-да умница». В том же письме, несколько ранее, речь об отъезде за границу ведется вполне серьезно: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне *слободу*, то я месяца не останусь» (X, 208).

Почти наверняка считая возможной перлюстрацию своих писем, Пушкин соблюдает осторожность, кое-что акцентирует, кое о чем умалчивает[2], но в целом написанное им, видимо, соответствует тому, о чем он думает, не является лишь прикрытием, средством к достижению цели – освобождению из ссылки. Заметим, отсутствие солидарности с идеями декабристов и оправдания восстания – не только цензурная предосторожность.

---

[1] 12 апреля 1826г. В.А. Жуковский писал Пушкину: «Всего благоразумнее для тебя оставаться покойно в деревне». И далее: «Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Если оно *только ко мне*, то оно странно. Если ж для того, чтобы его *показать,* то оно безрассудно». (Жуковский В.А. Сочинения в трех томах. М.: Художественная литература, 1980. Т.3. С. 451–452).

[2] Не случайно, призывая П.А. Вяземского написать о кончине Н.М. Карамзина, Пушкин упоминает Ф. Гальяни (X, 210–211). Автор «Неизданной переписки…» (Париж, 1818г.) назвал высшим ораторским искусством «сказать всё и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить всё».

В первой половине июня 1826 года Пушкиным написано письмо-прошение новому царю. Кратко, с достоинством пишет он о своей ссылке, о надежде на великодушие императора, о готовности «с истинным раскаянием и твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)». И вновь просит о позволении ему ехать «или в Москву, или в Петербург, или в чужие края», со ссылкой на состояние здоровья[1] (X, 209-210).

Далее события развивались таким образом: 19 июля Псковский губернатор Б.А. Адеракс посылает рапорт на имя Прибалтийского генерал-губернатора Ф.О. Паулуччи «с приложением прошения Пушкина на высочайшее имя, медицинского свидетельства о болезни Пушкина и подписки его о непринадлежности к тайным обществам» [2]. Письмо-прошение Пушкина пошло по инстанциям и было доложено Николаю.

В это же время, т.е. в середине июля 1826 года, по поручению гр. И.О. Витта в Псковскую губернию отправлен секретный агент при начальнике херсонских военных поселений титулярный советник А.К. Бошняк для «возможно тайного и обстоятельного исследование поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян», и для «арестования его и отправления куда следует, буде бы он оказался действительно виновным»[3]. 1 августа граф Витт ознакомился с результатами «исследования», а спустя неделю отчет лег на стол Императора[4].

После коронации, состоявшейся 22 августа, Псковскому генерал-губернатору было велено немедленно доставить Пушкина в Москву с нарочным фельдъегерем, причем «г.Пушкин мог ехать в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта». В ночь с 3-го на 4-е сентября, Пушкин, сопровождаемый фельдъегерем, выехал в Москву, ни с кем даже не увидевшись и не попрощавшись. О своем внезапном отъезде он сообщил П.А. Осиповой уже из Пскова 4 сентября: такой отъезд «удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегеря у нас грешных ничего не делается; мне также дали его, для большей безопасности» (X, 212, 795).

8 сентября утром Пушкин прибыл в Москву, его сразу же привезли в Кремль и передали дежурному генералу А.Н. Потапову. Там ему, небритому, немытому, усталому пришлось ждать несколько часов. Затем в Чудовом (Малом Николаевском) дворце произошла встреча поэта и царя, которая длилась около двух часов. У каждого был свой расчет. У Николая, вероятно, более продуманный и точный. Царь заранее знал, как он «поведет игру» (она, в основном, от него зависела). Продуман вопрос о возможном участии Пушкина в восстании, вероятном освобождении поэта из ссылки, предложении стать цензором Пушкина. Император понимал, что Пушкин с радостью примет его предложение: оно выделяло Пушкина из общего ряда писателей; до этого только Карамзин при Александре I имел такое право. Имелись и дипломатические соображения: показать европейским дворам, что новый царь покровительствует лучшему из отечественных поэтов[5].

---

[1] П.А. Вяземский полагал, что письмо это «сухо, холодно и не довольно убедительно». На что Пушкин отвечал в августе 1826 г., т.е. после казни декабристов: «Ты находишь письмо мое холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» (X, 211).

[2] Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. Л.: «Наука, 1991. С. 629.

[3] Цит. по: Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором // Пушкин и его современники. Избранные труды (1898—1928). СПб.: «Искусство СПБ», 1999. С. 79.

[4] Н. Я.Эйдельман подробно разбирая и комментируя эту инспекционную поездку, пишет: «Опытный агент Бошняк собирает множество сведений о поэте, из которых самым опасным с правительственной точки зрения, было свидетельство о том, что поэт «иногда ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу» (Эйдельман Н. Пушкин и декабристы. М.: «Художественная литература», 1979. С. 393).

[5] См.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. Изд. 2-ое. СПб.: Изд. С.В. Бунина, 1909. С.472.

Были свои расчеты и у Пушкина. Он, наверняка, продумывал линию своего поведения и во время пути в Москву, и ранее. В эти расчеты, видимо, входило признание, что он принял бы участие в восстании, если бы присутствовал в Петербурге. С большой долей вероятности – утверждение, что в никаких организациях бунтовщиков никогда не участвовал, идей их не разделял и не разделяет. И, соответственно, обещание быть лояльным царю и правительству, не нарушать законов. Беседу Пушкин собирался вести спокойно, с чувством собственного достоинства, не льстя императору, не унижаясь.

Говоря о расчетах Пушкина, следует привести один эпизод, к ним относящийся. По свидетельству С.А. Соболевского, отправляясь из Михайловского, Пушкин сунул в карман листок, где было написано стихотворение «Пророк», оканчивавшееся обличительными строфами. Н.О. Лернер приводит рассказ А.П. Пятковского, который подобный же рассказ слышал от А.В. Веневитинова: «стихотворение «Пророк» в первоначальном виде оканчивалось следующей строфой:

Восстань, восстань, пророк России.
Позорной ризой облекись
Иди – и с вервьем вкруг смиренной выи
К царю… явись.

<…> Являясь в Кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость, в случае неблагоприятного исхода его объяснения с государем, вручить Николаю Павловичу на прощание это стихотворение»[1]. Существует еще один вариант последней строфы «Пророка», который сообщили П.И. Бартеневу М.П. Погодин и А.С. Хомяков:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием вкруг шеи (выи? – рукой,
кажется Соболевского),
К У. Г. явись[2].

Комментируя эти строки, М.А. Цявловский замечает: «Что-то очень оскорбительное для Николая I заключают в себе слова, начинающиеся на «у» и «г» в записи Бартенева, если он их не решился записать даже в своей тетради. Не назвал ли Пушкин Николая I за казнь пяти декабристов «убийцей гнусным?»[3]. Не будем подробно приводить и разбирать полемику исследователей по поводу этих строк и их принадлежности Пушкину, отметим лишь еще один момент. М.П. Погодин полагал, что «Пророк» – это одно из четырех стихотворений цикла, о чем и сообщал в письме П.А. Вяземскому: «Должны быть четыре стихотв., первое только напечатано (Духовной жаждою томим etc.)»[4]. Но это единственное упоминание о некоем «цикле политических стихов». А вариант с вручением обличительного стихотворения, если он действительно существовал, был предусмотрен только на самый неблагоприятный случай, когда уже терять нечего.

Примерно такие были расчеты. Но многое определялось самой встречей, ее обстановкой, атмосферой, случайными обстоятельствами.

Итак, 8 сентября 1826 года. «Всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который сказал мне: "Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?" Я отвечал, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: "Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге?" –

---

[1] Лернер Н. О. «Пророк России» // Лернер Н.О. Рассказы о Пушкине. Л.: изд. «Прибой», 1929 г. С. 98–99.
[2] Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым в 1851–1860 годах / Вступит. статья и примеч. М. Цявловского. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925. С. 31.
[3] Там же, с. 93-94.
[4] Цит. по: Цявловский М. А. Заметки о Пушкине // Звенья / Под ред. В. Бонч-Бруевича. М.-Л.: Academia, 1936. Т. VI. С. 153.

"Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога!»[1]. Этот же диалог по поводу возможного участия в восстании известен и из воспоминаний барона М.А. Корфа: «Однажды, за небольшим обедом у государя, при котором и я находился, было много говорено о Лицее, прежнем и нынешнем, и еще более о Пушкине. <…> "Я, – говорил государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного <...>. Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге" – спросил я его, между прочим. – Стал бы в ряды мятежников, – отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием – сделаться другим"»[2].
Беседа длилась долго, около двух часов. О чем они говорили? Не свелось же все к вопросу о возможном участии Пушкина в восстании и ответа на него. Для этого хватило бы нескольких минут. Конечно, говорили о многом, видимо, в основном Николай. Возможно, речь шла о воспитании юношества, о цензурных преобразованиях, об отношении к дуэлям[3], о восстании, о желании искоренить злоупотребления и взяточничество, дать новые законы, о каких-то других намерениях, которые имелись у нового царя. Николаю явно было интересно. Не исключено, что и Пушкину. При этом оба участника хотели договориться, были настроены довольно доброжелательно и встреча эту доброжелательность усилила. Оба понравились в этот момент друг другу. Царю могла понравиться прямота и смелая искренность ответов поэта. Об этом пишет Ф.Ф. Вигель: «его умная, откровенная, почтительно-смелая речь полюбилась государю»[4]. Пушкин же, по мнению А. Тырковой-Вильямс, «был очарован простотой Николая, тем, как внимательно он слушал, как охотно сам высказывался»[5]. Современник и собеседник Пушкина, Адам Мицкевич, утверждал: «Пушкин был тронут и ушёл глубоко взволнованный. Он рассказывал своим друзьям иностранцам, что, слушая императора, не мог не подчиниться ему. "Как я хотел бы его ненавидеть! – говорил он. – Но что мне делать? За что мне ненавидеть его?"»[6].

Милость к Пушкину должна была произвести хорошее впечатление на общественность и Запада и России, в какой-то степени сгладить ужас расправы над декабристами. Так оно и случилось. М. Погодин записал в своем Дневнике 11 сентября 1826 г.: «Веневитинов сказал <…>, что княжна Александра Ивановна Трубецкая известила его о приезде Пушкина и вот каким образом: они стояли против государя на бале у Мармона. "Я теперь смотрю de meilleur oeil на государя, потому что он возвратил Пушкина"»[7]. Общественное мнение сформировалось достаточно быстро: Император облагодетельствовал поэта, поступил как отец с сыном (пожурил и благородно простил юношеские шалости). На этом фоне резким диссонансом звучит голос А.И. Герцена: Император «хотел погубить его (Пушкина) в общественном мнении своею милостью, покорить его своим благорасположением» [8]. 1 марта 1860 г. в 64-м листе «Колокола». было опубликовано адресованное А.И. Герцену «Письмо из провинции», за подписью «Русский человек».

---

[1] Хомутова А. Г. со слов А.С. Пушкина // Бартенев П.И. О Пушкине. М.: «Советская Россия», 1992. С. 406.
[2] Корф М. А. Барон Модест Корф. Записки. М.: «Захаров», 2003, с.431.
[3] Предположить, что эти темы поднимались во время разговора, позволяет письмо Пушкина от 16 сентября 1826 г., в котором он рассказывает П.А. Осиповой о своей московской жизни: «Много говорят о новых, очень строгих, постановлениях относительно дуэлей и о новом цензурном уставе … ». (X, 212, 795–796)
[4] Вигель Ф. Ф. Записки. В 2-х кн. М.: «Захаров», 2003. Кн.2. С. 1212.
[5] Тыркова-Вильямс А.. Жизнь Пушкина. Т. 2. Париж: YMCA-Press, 1948. С. 137.
[6] Мицкевич А. Собрание сочинений в 5 тт. М.: Гослитиздат, 1948– 1954. Т4. М., 1954. С. 389.
[7] Цявловский М. А. Пушкин по документам Погодинского архива //Пушкин и его современники. 1903–1930. Вып. XIX-XX, Пг.: Изд. Имп. АН, 1914. С. 74.
[8] Пушкин в воспоминаниях современников. Л.: Гос. изд. художественной литературы, 1950. С.433.

Автор письма приводит слова А. Мицкевича: «Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему: "Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал, но, верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться". И 30 лет укреплял он русский народ. Может быть, этот анекдот и выдумка, но он в царском духе, т. е. брать обольщением, обманом там, где неловко употребить силу. Но как бы то ни было, сближение с двором погубило Пушкина...»[1].

И уже в начале XX века М.К. Лемке решил, что «время накопило теперь достаточно неоспоримых данных для того, чтобы иметь возможность вскрыть фальшь и неискренность «покровительствовавшего» поэту царя и III Отделения его приснопамятной канцелярии»[2]. В главе, посвященной Пушкину, очень выразительно названной «Муки великого поэта», он приводит мнение П.Е. Щеголева, который «из историков, оценивающих положение дела, лучше других высказался: «царь-актер <…> всегда умел провести наблюдателей, которые простодушно верили в его искренность, благородство, смелость; а ведь он только играл. И Пушкин, великий Пушкин был побежден его игрой. Он думал в простоте души, что царь почтил в нем вдохновенье, а дух державный в нем не жесток. А для Николая Павловича Пушкин был просто шалопаем, требующим надзора. Снисходительность же объясняется исключительно желанием и из поэта извлечь возможно большую выгоду»[3]. М. Лемке считает, что вначале Пушкин принял за чистую монету желание Императора стать его цензором и был в восторге от царской милости. То есть Пушкин был простодушно доверчив, император же с самого начала лицемерил, Именно эта точка зрения позже стала основной в советском литературоведении. Думается, акценты здесь несколько смещены. Не полностью доверчив Пушкин, не полностью лицемерен Николай. Хотя с первых шагов особой открытости между ними не было. Слишком разные они люди и по положению, и по характеру, и по пониманию отношений, сложившихся между ними. Тем не менее можно считать, что встреча с Николаем закончилась для поэта вполне благополучно, и он был доволен царем. Тот же, при всем равнодушии к поэзии, почувствовал значительность Пушкина его, незаурядность. По воспоминаниям Д.Н. Блудова, на балу царь сказал: «Знаешь, я нынче долго разговаривал с умнейшим человеком в России. Угадай, с кем?». Видя недоумение на лице Блудова, царь с улыбкой пояснил: «С Пушкиным»[4]. Но подлинного понимания величия гения Пушкина, масштаба его личности у Николая никогда не было и не могло быть. Он не любил и не понимал литературы, в его восприятии поэзия не была серьезным делом. Император слишком верил в непогрешимость своих суждений, в том числе литературных. В его сознании не мог возникнуть даже отблеск мысли о равенстве между ним и поэтом. Речь шла только о милостивом покровительстве всемогущего и всезнающего государя, оказываемом непутевому, но талантливому подданному. Император считал, что оказывает милость поэту, забыв его проступки, что он благоволит ему. Пушкин же никогда не терял чувства собственного достоинства и ни от кого не мог терпеть унижения зависимостью. И, вероятно, существенной причиной дальнейшей трагедии поэта оказалось то, что он слишком был приближен к Николаю, а не враждебность царя, не его лицемерие, не его осуждение политической позиции Пушкина. Хотя вольнолюбие поэта император всё же ощущал, и оно вряд ли ему нравилось. В момент же встречи и тотчас после нее, ни Николай, ни Пушкин не предполагали дальнейшего развития событий. Похоже, тогда они

---

[1] Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 томах / АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького / гл. ред. В. П. Волгин и др. М., 1954–1966. Т. 14: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1859–1860 годов / ред. Ю. Г. Оксман ; коммент. Г. Н. Антоновой и др. М., 1958. С.541.

[2] Лемке , Николаевские жандармы, с.467.

[3] Там же, с. 467.

[4] Цит. по: Тыркова-Вильямс А., т.2, с. 138

испытывали взаимную симпатию. Поэт вышел после свидания окрыленным, с надеждой на нового царя, с благодарностью к нему. По словам П.В. Нащокина, Пушкин вышел из кабинета «со слезами на глазах, и был до конца признателен Государю»[1]. 16 сентября 1826 г. он пишет из Москвы П.А. Осиповой: «Государь принял меня самым любезным образом» (X, 212, 795). Что же касается цензуры царя, то Пушкин ей рад, о чем писал Н.М. Языкову: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, "Годунова" тиснем» (X, 217). А ведь предлагая Пушкину быть его цензором, Николай фактически взял под контроль его творчество.

***

Надежды на Николая, благодарность ему за освобождение, за сочувственный прием и благожелательность отразились в ряде стихотворений, созданных вскоре после их встречи. Прежде всего, следует иметь в виду «Стансы», написанные 22 декабря 1826 г. (II, 342). Это стихотворение построено целиком на сопоставлении Николая I с Петром Великим, явно импонировавшее молодому Императору[2]. В то же время в «Стансах» ясно читается противопоставление Николая Александру I и его царствованию[3], тоже не вызвавшее негативного отношения нового царя. Пушкин отмечал в «Стансах» в деятельности Петра, наряду с правдой, которой «он привлек сердца», стремление к просвещению, приверженность к науке. Здесь содержится и мысль, что «мятежи и казни» в начале царствования могут оказаться неизбежными, и призыв к милости, и надежда, что Николай сможет стать достойным потомком Петра, осуществить завещанное им. Пушкин в конце 1826 г. верил в это. И он «был не одинок в выражении исторического оптимизма, связанного с началом нового царствования. Этот оптимизм в значительной степени восходит к Карамзину»[4]. Схожесть позиций не случайна, Н.М. Карамзин – знаковая фигура для Пушкина. Он хотел бы играть его роль при Николае, «строить свои взаимоотношения с императором Николаем по той же модели, по которой строил взаимоотношения с императором Александром Карамзин»[5].

В комментарии, помещенном в 10-томном собрании сочинений А.С. Пушкина, наиболее популярном и доступном, написано: «Пушкин рассматривал это стихотворение как план прогрессивной политики, на которую он пытался направить Николая I. В последнем стихе выражалось пожелание о возвращении декабристов из Сибири. Однако в близких Пушкину кругах эти стансы были поняты как измена прежним убеждениям и форма лести» (II, 438). О положительном отношении поэта к новому царю в комментарии вообще не говорится. Здесь, как и позднее, «Стансы» истолковываются лишь как возможность дать Николаю I урок прогрессивного поведения и действий, как маскировка пропаганды либеральных реформ. А ведь на самом деле были и урок, и искреннее расположение к молодому императору. Вместе с тем, нельзя не согласиться с И.В. Немировским. С его точки зрения, «Стансы» – «неудачная попытка разговаривать с властью на традиционном для русской культуры языке поэта, обращающегося к царю» [6]. Сама же статья о «Стансах» названа Немировским «Опрометчивый оптимизм».

---

[1] Нащокин П.В. по записи П.И. Бартенева // Бартенев П. И. О Пушкине. М.: «Советская Россия», 1992. С. 349.

[2] Сопоставление двух императоров – Петра I и Николая I, появившееся в конце 1826 г., вообще характерно для официального взгляда конца 1820-х – 1830-х гг., позднее – для представителей официальной народности. Так, первый номер журнала «Москвитянин» за 1841 г. открывался программной статьей М.П. Погодина о Петре, где тоже проводилась аналогия: Петр – Николай.

[3] См. об этом: Альтшуллер М. Г. Между двух царей. Пушкин 1824–1836. СПб.: Академический проект, 2003. С. 27–34.

[4] Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб.: Гиперион, 2003. С. 250.

[5] Там же, с. 255.

[6] Там же, с. 257.

Осенью 1827 г. А.Х. Бенкендорф известил Пушкина, что «Стансы» дозволены к печати. Поэт сразу же начинает распространять их в обществе. Стихотворение обострило отношения Пушкина с друзьями, видимо, прежде всего с московскими, с П.А. Катениным, П.А. Вяземским. Судя по всему, списки стихотворения широко разошлись и к началу 1828 г., еще до публикации, стали общим достоянием[1]. Новая волна слухов. А.М. Тургенев[2], посылая список «Стансов» своему приятелю, сопроводил их своим комментарием: «Прилагаю вам стихи Пушкина, impromptu, написанные автором в присутствии государя, в кабинете его величества»[3]. Необходимо было опровергнуть эти слухи, объяснить свободный характер своей хвалы, своих надежд на императора. Стихотворение «Друзьям» создано с этой целью. Остановимся подробнее на этом стихотворении. Начнем с комментария. В нем говорится о поводе к созданию стихотворения (истолкование многими «Стансов» как лести царю), о том, что Пушкин представил стихотворение «Друзьям» на рассмотрение царю: тот одобрил стихотворение, передал об этом через Бенкендорфа Пушкину, но не захотел, чтобы оно было напечатано. Причина последнего распоряжения в комментарии объясняется так: «В действительности смысл стихотворения заключается в политической программе, изложенной в трех последних четверостишиях <…>: ограничение самодержавной власти, защита народных прав и просвещения, требование права свободного выражения мнения. Именно это и послужило причиной, почему Николай запретил печатать эти стихи» (III, 486). Хотя прямо об этом не говорится, предыдущие пять строф, подчеркнуто эмоциональных, выражающих чувства благодарности, как бы объявляются неискренними, притворством, прикрытием, предназначенным для маскировки программы Пушкина. Как и в случае со «Стансами», трактовка советских времен превратила поэта, независимо от намерений исследователей, в лжеца и лицемера[4]. А ведь черновая редакция содержит мотив клеветы («я жертва мощной <?> клеветы») и утверждение, что его похвала свободна («он не купил хвалы»)[5]. Думаю, хвала царю в «Друзьях» была на самом деле свободной и искренней, отражала истинное отношение Пушкина к новому императору. Не лицемерил и царь, выказывая благоволение поэту. Проблема в другом: в их взаимонепонимании и несовместимости. Царь предполагал, что его «милость» превратит Пушкина в поэта, похожего в чем-то, возможно, на Жуковского: полезного властям, в вечно благодарного благосклонному к нему монарху. Пушкин же говорил о роли поэта не враждебного власти, относящегося к ней даже с симпатией, с благодарностью, но независимого и свободного, способного «истину царям с улыбкой говорить» (слова из «Памятника» Г.Р.Державина),

Тема независимости поэта, его права говорить властям правду, оценивать их поступки, по-своему судить их звучит во многих произведениях Пушкина. Она отчетливо слышится уже в «Песне о вещем Олеге» (1822 г.), т.е. задолго до воцарения Николая:

Волхвы не боятся могучих владык,
И княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен[6].

---

[1] Ст. «Стансы» было напечатано в «Московском вестнике» в начале 1828 года (№1).

[2] Александр Михайлович Тургенев (1772-1862), мемуарист.

[3] Цит. по: Немировский, с. 242.

[4] Вообще обман, если он «в благих целях», признавался в советском литературоведении (да и не только в литературоведении) вполне закономерным. Обманывали, даже не сознавая этого, не только сами исследователи, но, по их милости, и объекты их изучения (в данном случае – Пушкин).

[5] См.: А. С. Пушкин. ПСС в 16 тт. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959. Т. 3, кн. 2. 1949. С. 643–644.

[6] Это совсем не то, что у В.В. Маяковского: «И с властью советскою дружен». — ПР

Не берусь категорично судить об истинном отношении Николая к стихотворению «Друзьям». Возможно, воспринято оно было как искреннее выражение чувств поэта. Но, думается, он понимал, что стихотворение можно истолковать как слишком грубую, прямолинейную лесть, не нужную ни царю, ни поэту. И без того ходили слухи, что «Стансы» написаны Пушкиным под давлением царя, чуть ли не в его кабинете во время их свидания в Чудовом дворце, что и нашло отражение в упомянутом письме А.М. Тургенева. Вероятно, потому и появилась на рукописи Пушкина резолюция: «Это можно распространять, но нельзя печатать» (фр.).

Николая сложно упрекнуть в пристрастии к грубой лести. Примером может послужить его отношение к Ф.В. Булгарину. А в дневнике А.В. Никитенко за 1834 г. приводится разговор с министром просвещения по поводу книги В.Н. Олина «Картина восьмилетия России с 1825 по 1834 г.» СПб. 1833, где неумеренно расхваливались Николай и Ф.И. Паскевич. Как цензор книги, Никитенко был поставлен в сложное положение: нельзя запрещать, но и разрешать неловко (автор называл Николая I богом). К счастью, Николай сам разрешил вопрос. «Я пропустил эту книжку <…>. Государю все-таки не понравились неумеренные похвалы, и он поручил министру объявить цензорам, чтобы впредь подобные сочинения не пропускались»[1]. Впрочем, известны случаи, когда реакция была иной. Тот же Никитенко вспоминает о стихах в честь Николая, написанных офицером Марковым, за которые автор получил брильянтовый перстень.

Когда из Михайловского поэт писал о готовности примириться с правительством, оговаривал, что его « будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения» с ним правительства (X, 198). Обхождение с ним правительства давали надежду. Самый пик надежд – первые годы после возвращения из ссылки (1826-1828). Отражение их – стихотворения «Стансы», «Друзьям», «Арион». В комментариях к последнему стихотворению указано, что «имя Ариона понадобилось ему (Пушкину), чтобы прикрыть истинный смысл стихотворения, рисующего судьбу друзей-декабристов и самого поэта» (III, 482). Не думаю. Его содержание – тема судьбы, спасшей поэта от гибели, сохранившей его для высокого предназначения. Нужно сказать, что современники вовсе не истолковывали это стихотворение как выражение верности декабристским идеям. Да и сам факт, что стихи были пропущены цензурой и опубликованы, достаточно красноречив.

***

Во многих советских исследованиях Пушкин изображается как полный (или почти полный) единомышленник декабристов, поэт-революционер (М. Нечкина и ее школа). Для обоснования такого толкования цитируют строки, которые уже упоминались, «Восстань, восстань, пророк России», помещенные в Полном собрании сочинений А.С.Пушкина в разделе «Отрывки» (II, 355). Здесь же приводится строчка «И я бы мог как ш<ут> на», содержащаяся в одной из черновых тетрадей под рисунком с виселицами казненных декабристов. Она истолковывается также в революционном ключе. По поводу названного рисунка и подписи шли споры. Я их касаться не буду. Но сомневаюсь, что рисунок и подпись выражали солидарность с революционными идеями. Слово *шут* (глупец, простак) отнесено не к декабристам, а к самому себе (поступил бы как глупец). Думаю, что здесь идет речь о стремлении поэта в свете декабрьских событий осмыслить судьбу России, свою собственную судьбу. Это раздумья человека, который не принадлежит ни к одному из крайних лагерей, который оказался между молотом и наковальней и вполне мог бы погибнуть. Это раздумья общего плана, не только о себе, но и о себе тоже. Поэт, при всем сочувствии к казненным, сосланным «во глубину сибирских руд», при желании смягчения их участи, приходит к мысли о несостоятельности заговора декабристов, несостоятельности не потому, что они потерпели поражение. Позднее тема найдет

[1] Никитенко А. В. Дневник в трех томах. Том 1 (1826–1857). Л.: Гос. изд-во художеств. литерат. 1955. С. 132.

развитие в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке» («бунт бессмысленный и беспощадный»); вероятно, в замысле истории французской революции и пр.

Знаменательно в этом смысле стихотворение хрестоматийно известное – «Во глубине сибирских руд» (III, 7), переданное Пушкиным А.Г. Муравьевой, отправлявшейся в Сибирь в начале января 1827 г. О чем здесь идет речь? О скорбном труде (труде на каторжных рудниках), о надежде, о верности и любви друзей, о высоких думах декабристов и свободном голосе поэта, об его вере в их освобождение. Но речь не идет об оправдании восстания, о солидарности с идеями, вызвавшими его. Думается, не говорится в нем и о крушении самодержавия. Как справедливо отмечает М. Г. Альтшуллер, «Давно уже и вполне убедительно доказано, что никаких революционных призывов эти стихи не содержат. <…> Конечно, стихи пронизаны глубоким сочувствием к страданиям заключенных, но отнюдь не к их делу»[1]. Более того, в своем Дневнике (запись 17 марта 1834 г.) Пушкин говорит о праве Николая I казнить декабристов: «Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать» (VIII, 40).

***

В конце 1820-х годов Пушкин выражает симпатию к Николаю, благодарность ему, не только в творчестве, но и в быту. Так, в октябре 1827 года М. Я. фон Фок писал А.Х. Бенкендорфу: «Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит Государя и даже говорит, что ему обязан жизнию, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть»[2]. А сам Бенкендорф с весьма характерными оговорками сообщал Императору: «Пушкин <…> всюду говорит о Вашем Императорском Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью; за ним все-таки следят внимательно»[3]. Это запись 1826 года. В июле 1827 года: «Пушкин <…> говорил в английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он всё-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»[4].

Узнав о смерти фон Фока, в Дневнике своем А.С.Пушкин записал: «На днях скончался в Петербурге Фон-Фок, начальник 3-го отделения государевой канцелярии (тайной полиции), человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное» (VIII, 26). Комментируя эту запись, автор примечаний пишет: «Запись о Фон-Фоке, конечно, не отражает настоящего мнения о нем Пушкина» (VIII, 501). Думается, отражает. Но нужно добавить, что поэт не догадывался, какую роль играл фон Фок в его судьбе. Так, М.М. Попов, один из чиновников III отделения, вспоминал, что фон Фок и Бенкендорф всегда смотрели на Пушкина, «как на опасного вольнодумца, постоянно следили за ним и приходили в тревожное положение от каждого его действия, выходившего из общей колеи. <…>, не восхищавшиеся ничем в литературе и не считавшие поэзию делом важным, передавали царскую волю Пушкину всегда пополам со строгостью, хотя в самых вежливых выражениях. Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец их предпримет какой-либо вредный замысел или сделается коноводом возмутителей»[5].

---

[1] Альтшуллер М. Г. Между двух царей. Пушкин 1824–1836. СПб.: Академический проект, 2003. С. 36.

[2] Цит. по: Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором // Пушкин и его современники. Избранные труды (1898— 1928). СПб.: «Искусство СПБ», 1999. С. 110.

[3] Выписки из писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I-му о Пушкине. Изд. в переводе граф. Ек. П. Шереметевой, с предисл. и примеч. Николая Барсукова . СПб.: Тип. М. Стасюлевича , 1903. С. 4.

[4] Там же, с. 5.

[5] Цит. по: Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. В кн.: Пушкин и его современники. Избранные труды (1898— 1928). СПб.: Академический проект, 1999. С.73.

В архиве М.Я. фон Фока, среди многочисленных бумаг подобного рода, сохранились и донесения Ф.В. Булгарина. В записке, подготовленной в первых числах сентября 1827 года, Булгарин сообщал: «Нелепое мнение, что Государь Император не любит просвещения, было общим среди литераторов, которые при сем жаловались на Цензурный устав <…>. Литераторы даже избегали быть вместе и только встречаясь, мимоходом изъявляли сожаление об упадке словесности. Наконец поступки государя Императора начали разуверять устрашенных литераторов в ошибочном мнении. Чины, пенсии и подарки, <…> составление Комитета для сочинения нового Цензурного устава, и наконец особое попечение Государя об отличном поэте, Пушкине, совершенно уверили литераторов, что Государь любит просвещение, но только не любит, чтобы его употребляли как вредное орудие для развращения неопытных». Далее Булгарин описывает вечеринку у О.М. Сомова: «За ужином, при рюмке вина, вспыхнула веселость, пели куплеты и читали стихи Пушкина, пропущенные Государем к напечатанию. Барон Дельвиг подобрал музыку к стансам Пушкина, в коих Государь сравнивается с Петром. Начали говорить о ненависти Государя к злоупотреблениям и взяточничеству, об откровенности его характера, о желании дать России законы – и, наконец, литераторы так воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев с рюмками шампанского и выпили за здоровье Государя. Один из них весьма деликатно предложил здоровье цензора Пушкина, чтоб провозглашение имени Государя не показалось лестью, и все выпили до дна, обмакивая стансы Пушкина в вино»[1]. Вполне вероятно, что это донесение Булгарина о перемене в общественном мнении в пользу Николая определялось стремлением угодить властям, сообщить то, что им хотелось услышать. Но в любом случае имя Пушкина, употребленное в приведенном тексте как имя некоего примирителя власти и писателей, весьма знаменательно.

Нужно сказать, взаимоотношения поэта и царя, благодарность поэта царю, активная их демонстрация Пушкиным, повлияли на отношение к нему некоторых прежних почитателей, особенно молодых, оппозиционно настроенных москвичей. Об этом в своей работе подробно пишет И. Немировский. Осенью 1826 г., когда Пушкин вернулся из ссылки, он имел репутацию опального, независимого поэта и своими действиями поддерживал такую репутацию (публичные чтения «Бориса Годунова», других произведений, не прошедших цензуру). Весной 1827 г., когда Пушкин уезжал в Петербург, его поведение и, соответственно, мнение о нем во многом изменились. Ходят толки о «ласкательстве» Пушкина и даже о «наушничестве <…> перед государем». Его обвиняют в «измене делу патриотическому», в «расчетах честолюбия». Анонимный автор[2] писал о нем:

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских щей отведал
И стал придворный лизоблюд.

Это – злорадство недоброжелателя. Но сходное отношение к Пушкину высказывают и люди из окружения поэта. П.А. Катенин тоже сравнивает «прежде» и « стал»: «после вступление на престол нового Государя явился Пушкин налицо. Я заметил в нем одну только перемену: исчезли замашки либерализма. Правду сказать, они всегда казались угождением более моде, нежели собственным увлечением»[3]. Аналогичное мнение высказывают и другие москвичи: «Пушкин ныне предался большому свету и думает более

[1] Видок Фиглярин: письма и агентурные записки Ф.В.Булгарина в III Отделение / Изд. подг. А.И. Рейтблат. М.: Литературное обозрение, 1998. С.205, 206.

[2] М.К. Лемке утверждает, что автор эпиграммы – А.Ф. Воейков. См.: Лемке М. Николаевские жандармы и литература. 1826–1856 гг. СПб.: изд. Бунина, 1909. С.486.

[3] Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х тт. М.: «Художественная литература», 1974. Т.1, С. 187.

о модах и остреньких стишках, нежели о благе отечества» (М. Лушников). И всё это еще до того, как «Стансы» стали широко известны [1].

***

Благоволение царя воспринималось современниками очень по-разному, самим Пушкиным с оптимизмом, но в любом случае – это факт неоспоримый. Казалось бы, можно утверждать, что положение Пушкина упрочилось. Так ли это на самом деле? Хотя царь и разрешил при необходимости обращаться непосредственно к нему, посредником избрал А.Х. Бенкендорфа, который, судя по всему, воспринял это как передачу императором на его усмотрение судьбы Пушкина. Император, назначая Бенкендорфа посредником между собой и Пушкином, возможно, не предвидел в полной мере, в какую страшную ловушку попадает поэт. Но Пушкину от этого было не легче. Посредником между Пушкиным и Николаем оказался сухой, ограниченный, честолюбивый карьерист. Он еще в большей степени, чем его патрон, не любил и не понимал литературу, поэзию, просвещение, особенно русскую поэзию и русское просвещение. Помимо прочего, Бенкендорф принадлежал к «немецкой партии», свысока относившейся ко всему русскому. В том числе и к дворянскому обществу, связанному в его сознании с декабристами, с вольномыслием и вольнолюбием, независимостью и гордостью.

Первое письмо Бенкендорфа Пушкину датируется 30 сентября 1826 г. Пространное и чрезвычайно учтивое послание, в котором после каждого *да* стоит многозначительное *но*. «Государь Император не только не запрещает приезда Вам в столицу (далее по логике должно стоять «но приветствует», однако *но* оказывается совсем другое. – ПР), но предоставляет совершенно на Вашу волю с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешение через письмо». О том, что никакой цензуры произведений Пушкина не будет: «Сочинений ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой Цензуры. Государь Император сам будет и первым ценителем произведений Ваших и Цензором». Но произведения и письма должны проходить через руки Бенкендорфа; «впрочем, от вас зависит и прямо адресовать на Высочайшее имя»[2] (между строчек читается: советую этого не делать. – ПР).

> По мнению А. Тырковой, письмо содержит программу «дальнейших двусмысленных отношений между правительством и поэтом. В каждой фразе ловушка или недоговоренность. Право печатания, право передвижения даны, и в то же время не даны, точно нарочно, чтобы потом Пушкину, как школьнику, читать нотации»[3]. Пушкин в момент свидания с императором наверняка думал не о такой свободе. Не совсем понятно, определился ли тогда в этом вопросе Николай Павлович.

В том же письме Бенкендорф сообщал Пушкину: «Его Величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности Ваши на передание потомству славы нашего отечества, передав вместе бессмертию имя Ваше. В сей уверенности Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы Вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, Вам предоставляется совершенная и полная свобода когда и как представить Ваши мысли и соображения, и предмет сей должен представить Вам тем обширнейший круг, что на опыте видели все совершенно пагубные

---

[1] См.: Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта». СПб.: Гиперион, 2003. С. 233–238.

[2] Письма Пушкина и к Пушкину. Новые материалы, собранные книгоиздательством «Скорпион»/Ред. и примеч. Валерия Брюсова. М., 1903. С. 34, 35.

[3] Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. 2. Париж: YMCA-Press, 1948. С.207.

последствия ложной системы воспитания»[1]. Кто автор слов о «пагубных последствиях ложной системы воспитания», которые Пушкин видел «на опыте», царь или Бенкендорф, сказать трудно. Известно, что последний неоднократно подкреплял свои распоряжения царским именем.

> В комментарии к Записке о народном воспитании сказано, что задание это имело характер политического экзамена поэта и заранее указывало желаемое направление записки: осудить существующую систему воспитания (в частности Лицей) – как причину декабрьских событий. Правительство в это время вообще собирало мнения о воспитании. Подобное задание было дано не только Пушкину. Аналогичные записки поданы и другими лицами: Н. И. Гнедичем, И. О. Виттом, Ф. В. Булгариным («Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного») (VII, 660). Думаю, что подвох вряд ли был. О воспитании, видимо, говорили они во время встречи 8 сентября. Впечатление царя от беседы с поэтом могло послужить основанием для этого поручения, но нужно признать, направление записки, безусловно, подсказывалось.

Записка «О народном воспитании» (VII, 42-49) была написана Пушкиным 15 ноября 1826 г. в Михайловском и передана царю. С нее началась цензорская работа Николая, относящаяся к произведениям Пушкина. Записка во многом следовала предписанному направлению – осуждала воспитание, которое вовлекло «многих молодых людей в преступные заблуждения». Но причина таких заблуждений, по мнению Пушкина, не совсем та, о которой хотелось бы услышать императору: «Недостаток просвещения и нравственности», «отсутствие воспитания». Для подтверждения своей мысли Пушкин ссылается на манифест 13 июля 1826 г., превращая царя в своего союзника: «*Не просвещению <…> должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей*» (Курсив текста. – ПР). И добавляет уже от себя: «Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия». Это было уже своеволием. Поэт осмеливался сметь свое суждение иметь. И дело не меняла комплиментарная концовка записки: «Сам от себя я бы никогда не осмелился представить на рассмотрение правительства столь недостаточные замечания о предмете столь важном, каково есть народное воспитание; одно желание усердием и искренностию оправдать высочайшие милости, мною не заслуженные, понудило меня исполнить вверенное мне препоручение. Ободренный первым вниманием Государя Императора, всеподданнейше прошу Его Величество дозволить мне повергнуть пред ним мысли касательно предметов, более мне близких и знакомых»[2] (VII, 49). 23 декабря 1826 г. Бенкендорф сообщил Пушкину: «Государь Император с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить Вам Высочайшую свою признательность. Его величество при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих то началах должно быть основано благонаправленное воспитание»[3]. М. Лемке отметил, что письмо Бенкендорфа довольно точно воспроизводит резолюцию царя на Записке; что в тексте Пушкина нет слова «гений», что его (своеобразный выпад в адрес Пушкина) добавил Николай [4]. Всё же возникает вопрос, не озвучил ли шеф III отделения свои собственные соображения или, по крайней мере, не подсказал ли их своему

---

[1] Письма Пушкина и к Пушкину, с. 34.

[2] Судя по всему, подразумевалась цензура, но отклика на это предложение не последовало.

[3] Письма Пушкина и к Пушкину, с. 41.

[4] Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Издание 2-ое.. СПб.: Изд. С.В.Бунина, 1909, с.476.

повелителю. Следует вообще помнить, что точка зрения императора почти всегда излагалась Пушкину Бенкендорфом, крайне недоброжелательно относившегося к поэту.
В 1827 году А. Н. Вульф записал в своем Дневнике: «Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: "Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову"»[1]. (Эта формулировка потом неоднократно появляется в письмах Пушкина). Т.е. на какие-то уступки Пушкин шел. М.Лемке считает, что «Записка о народном воспитании», несомненно, только и может быть рассматриваема, как компромисс с правительством Николая»[2]. Следует отметить, что и эта попытка не вполне удалась.

***

Узнав о назначении Н.И. Гнедича членом Главного Управления училищ, Пушкин писал П.А. Плетневу, что это решение «делает честь государю, которого искренне люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он умно и по-царски» (X, 341). Вероятно, так воспринял Пушкин и поручение писать историю Петра Первого. Все решилось очень быстро: где-то около 20 июля 1831 года в Царском Селе состоялась встреча Пушкиных с императорской четой. А.О. Россет в своих воспоминаниях передает фрагмент этой встречи: «Государь сказал Пушкину: Мне бы хотелось, чтобы король Нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме. – Пушкин ответил: "Государь, в таком случае я попрошу Ваше Величество назначить меня в дворники". Государь рассмеялся и сказал: "Я согласен, а покамест назначаю тебя его историком и даю позволение работать в тайных архивах"»[3]. Возможно, решение царя было обусловлено и впечатлением, которое произвело на него стихотворение «Стансы». Тотчас после разговора с Николаем I, Пушкин подает А.Х. Бенкендорфу записку, в которой указывает, в каком качестве он мог бы быть полезен. Один из вариантов – «редакция» политического и литературного журнала, другой – исторические изыскания: «Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III» (X.640). О записке доложено Императору, и на ней появляется резолюция Бенкендорфа: «Написать Гр. Нессельроде, что Государь велел его принять в Иностранную коллегию с позволением рыться в старых архивах для написания Истории Петра Первого. Не угодно ли будет графу испросить или самому назначить Пушкину жалованье»[4]. 22 июля 1831 г. поэт писал П.А. Плетневу: «Кстати, скажу тебе новость <…> царь взял меня в службу – но не в канцелярскую, или придворную, или военную – нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: puisqu'il est marié et qu'il n'est pas riche, il faut faire aller sa marmite[5]. Ей-богу, он очень со мною мил» (X, 369). Накануне, 21 июля 1831 г., Пушкин известил П.В. Нащокина о том же: « зимой зароюсь в архивах, куда вход дозволен мне царем. Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики…» (X, 367).

По распоряжению царя, Пушкина возвращают на службу, причислив его к коллегии иностранных дел. Мимоходом он сообщил об этом 15 января 1832 г. своему знакомому (М.О. Судиенко), прося одолжить денег. По его словам, есть всего три человека, ему более или менее дружественные, к которым он мог бы обратиться за помощью; под третьим

---

[1] Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х тт. М.: «Художественная литература», 1974. Т.1. С. 416.
[2] Лемке, Николаевские жандармы, с.476
[3] Смирнова-Россет А.О. Дневники. Воспоминания. М.: «Наука», 1989. С. 566.
[4] Дела Ш Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб.: тип. М.П.С., 1906. С. 120.
[5] Раз он женат и небогат, надо дать ему средства к жизни (фр.).

подразумевается Николай: «Сей последний записал меня недавно в какую-то коллегию и дал уже мне (сказывают) 6000 годового дохода; более от него не имею права требовать» (X, 401). 20 января того же года поэт писал Д. Н. Блудову: «Буду ожидать приказания вашего, дабы приступить к делу, мне порученному» (т.е. написанию истории Петра.– ПР) (X, 402). 3 мая 1832 г. Пушкин просит Бенкендорфа разъяснить, где и как должно получать жалование, «так как я не знаю, откуда и считая с какого дня я должен получать его» (X, 409, 848). Почти год спустя Пушкин просит императора о разрешении привлечь к работе над Историей Петра М.П. Погодина, поскольку «трудиться над архивами одному невозможно, и что помощь просвещенного, умного и деятельного ученого необходима».

> 5 марта 1833 г. он пересказал этот разговор в своем письме Погодину. «Государь спросил, кого же мне надобно, и при вашем имени было нахмурился – (он смешивает Вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твердый, хоть молодец, и славный царь). Я кое-как успел вас отрекомендовать, а Д.Н. Блудов всё поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий. К сему присовокупился и благосклонный отзыв Бенкендорфа. Таким образом дело слажено…» (X, 428).

Однако к Истории Петра Пушкин не приступает. Весь 1833 год он усиленно работает над Историей Пугачева, вначале изучая архивные документы, рукописные и печатные работы, а в конце августа уезжает в Нижний Новгород, затем – Казань, Оренбург. Весь сентябрь проводит в поездке по местам, связанным с именем Пугачева, получив предварительно согласие на то А.Н. Мордвинова. Уже 6 декабря 1833 г. он пишет А.Х. Бенкендорфу о своем желании представить «Историю Пугачевщины» на высочайшее рассмотрение: «Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для его величества особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных» (X, 459). Закончив «Историю…», он просит Бенкендорфа ходатайствовать перед царем о выдаче займа в 15 000 рублей на два года, а также разрешения печатать свое сочинение в типографии, подведомственной М.М. Сперанскому[1]: «У меня нет другого права на испрашиваемую мною милость, кроме тех благодеяний, которые я уже получил и которые придают мне смелость и уверенность снова к ним прибегнуть» (X, 461, 855). Просьбу Пушкина удовлетворили, он получил даже более, чем первоначально просил. К осени 1834 г. книга была отпечатана, и 23 ноября 1834 г. Пушкин пишет Бенкендорфу: «я желал бы иметь счастие представить первый экземпляр книги государю императору, присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для его величества» (X, 518-519).

Без высочайшей правки не обошлось. Николай высказал ряд замечаний, потребовал изменить название: «История пугачевского бунта». В комментарии указывается, что измененное название «никак не соответствовало замыслу Пушкина» (VIII, 562). Думается, это не совсем так. Ведь писал Пушкин в «Капитанской дочке» о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном», не изменив своего отношения к собственно бунту. Всепонимание Пушкина. Изображение вины и правоты каждой из сторон. И с той, и с другой – озверение, крайнее ожесточение, пролитие крови, пытки. О жестокости властей, вызвавшей бунт, определившей то, что большинство народа на стороне Пугачева: «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посредством всевозможных мучений! Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши». Но и о злодеяниях и жестокости восставших: «Билову отсекли голову. С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны» (VIII, 172). В примечаниях к 8 главе «не

[1] М.М. Сперанский был в это время начальником II отделения Императорской канцелярии, он ведал и государственной типографией.

весьма полный» список жертв Пугачева (VIII, 327-352). Это – лишь перечисление. Мысль, что восстания, всяческие насильственные действия не выход, что благотворные изменения происходят только через просвещение, прогресс[1]. Как итог долгих раздумий– финальная формула, которая отлилась в афористические слова повествователя в «Капитанской дочке»: «… лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, *без всяких насильственных потрясений»* (курсив мой. – ПР) (VI, 455-456). Эту мысль Пушкин повторит с небольшим дополнением и в статье «Путешествии из Москвы в Петербург». Она, видимо, ему представляется принципиально важной: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (VII, 291-292). В значительной степени такие размышления определяют и интерес к Вальтеру Скотту, с его идеей терпимости, с осуждением крайностей, всякого рода фанатизма. Не случайно поэт с таким вниманием и восхищением перечитывал Вальтера Скотта[2], находя у него созвучие со своими мыслями о несостоятельности всякого фанатизма, в том числе радикального. «Капитанская дочка» написана Пушкиным не без оглядки на произведения Вальтера Скотта. Пушкин намеревался написать статью «О романах Вальтера Скотта». Сохранились её наброски, где автор поставлен здесь в ряд с В. Шекспиром и В. Гёте: они «не имеют холопского пристрастия к королям и героям» (VII, 529,750).

Еще одна деталь, относящаяся к правке «Истории Пугачева». Сохранилась переписка Пушкина с директором типографии М. Л. Яковлевым, лицейским товарищем поэта. В начале августа 1834 г. Яковлев пишет: «Нельзя ли без Вольтера?»[3]. (Вольтер упоминался в Предисловии среди русских исторических деятелей: Екатерины, Суворова, Державина и пр.; в главе четвертой приведено письмо Вольтера и ответ ему Екатерины; в примечаниях к главе восьмой – два письма Екатерины Вольтеру по поводу восстания Пугачева). Пушкин тотчас отвечает Яковлеву: «А почему ж? Вольтер человек очень порядочный, и его сношения с Екатериною суть исторические» (X, 511). Но подумав, Пушкин соглашается с Яковлевым: «Из предисловия (ты прав, любимец муз!) должно будет выкинуть имя Вольтера, хоть я и очень люблю его»[4] (X, 511).

***

Представляется важной для понимания отношения Пушкина к Николаю I в начале 1830-х гг. оценка поэтом польского восстания и июльской французской революции 1830-го года. Не будем останавливаться на этом вопросе подробно, напомню кратко лишь основные положения. Пушкин не сочувствует французской революции. Задержавшись из-за холеры в Болдине, он только в конце 1830 г. вернулся в Москву и смог прочитать французские газеты, присланные ему Е.М. Хитрово (т. е. об июльских революционных событиях в Париже он до этого толком не знал). 11 декабря 1830 г. Пушкин пишет Хитрово: «Вы говорите, что выборы во Франции идут в хорошем направлении, – что называете вы хорошим направлением? Я боюсь, как бы победители не увлеклись чрезмерно и как бы Луи-Филипп не оказался королем-чурбаном»[5]. Пушкин опасается, что в палату депутатов попадет «молодое, необузданное поколение, не устрашенное

---

[1] См.: Вольперт Л. И. Бессмысленный *и* беспощадный» (Пушкин и Жермена де Сталь о фанатизме*) //* История и историософия *в* литературном преломлении. Тарту, 2002. С. 37–56.

[2] В 20-х числах сентября 1834 г. он писал жене, что читает Вальтер Скотта и Библию. Ей же 21 сентября 1835 г.: «взял у них (Вревских. — ПР) Вальтер Скотта и перечитываю его. Жалею, что не взял с собою английского». 25 сентября 1835 г.: «читаю романы Вальтер Скотта, от которых в восхищении» (X, 515, 548, 550).

[3] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 16 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959. Т. 15. Переписка, 1832—1834. 1948. С. 185.

[4] В прижизненном издании «Истории Пугачевского бунта» имя Вольтера было исключено из Предисловия.

[5] Король-чурбан – из басни Лафонтена «Лягушки, просящие царя».

эксцессами республиканской революции, которую оно знает только по мемуарам и которую само не переживало» (X, 326 832). Под эксцессами поэт, видимо, подразумевает действия якобинцев. Без сочувствия Пушкин отзывается о событиях во Франции и в письме к Хитрово от 21 января 1831 г.: «Французы почти перестали меня интересовать. Революция должна бы уже быть окончена, а ежедневно бросаются новые её семена. Их король с зонтиком под мышкой (Луи-Филипп. – *ПР*) чересчур уж мещанин. Они хотят республики и добьются ее – но что скажет Европа и где найдут они Наполеона?» (X, 335, 834).

Гораздо больше эмоций вызывает у Пушкина польское восстание. Позицию его относительно событий в Польше, оценку их значения для России мы можем проследить по письмам. Так, 9 декабря 1830 года он пишет той же Елизавете Михайловне Хитрово: «Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены». Упомянув о действиях Александра I в отношении Польши, о том, что из сделанного им ничего не останется, Пушкин высказывает мнение, что в этих действиях «ничто не основано на действительных интересах России, а опирается лишь на соображения личного тщеславия, театрального эффекта и т.д.» (X, 325, 831-832). И вновь о Польше, в письме Хитрово от 21 января 1834 г.: «Вопрос о Польше решается легко. Ее может спасти лишь чудо, а чудес не бывает». Пушкин не верит в победу восстания, хотя бóльшую симпатию выражает польской молодежи, чем умеренным, которые одержат верх, «и мы получим Варшавскую губернию, что следовало осуществить уже 33 года тому назад. Из всех поляков меня интересует один Мицкевич». Пушкин опасается, как бы тот не приехал из Рима в Польшу, «чтобы присутствовать при последних судорогах своего отечества». Поэта раздражает тон русских официальных статей о Польше: «В них господствует иронический тон, не приличествующий могуществу. Всё хорошее в них, то есть чистосердечие, исходит от государя; всё плохое, то есть самохвальство и вызывающий тон, – от его секретаря. Совершенно излишне возбуждать русских против Польши» (X, 335, 833-834). 1 июня 1831 г. Пушкин сообщает П.А. Вяземскому, что Дибича[1] «критикуют явно и очень строго»; что в известии о сражении 14 мая не упомянуты «некоторые подробности, которые знаю из частных писем и, кажется, от верных людей». Передает эти подробности, в том числе о героическом поведении польского главнокомандующего. И делает вывод: «Всё это хорошо в поэтическом отношении. Но всё- таки их надо задушить, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей». Поэт считает, что выгода почти всех европейских правительств – держаться правила невмешательства, «но народы так и рвутся, так и лают. Того и гляди, навяжется на нас Европа. Счастие еще, что мы прошлого года не вмешались в последнюю французскую передрягу. А то был бы долг платежом красен» (X, 351-352). Суровый приговор И.И. Дибичу в письме П.В. Нащокину от 11 июня 1831 г: «О смерти Дибича горевать, кажется, нечего. Он уронил Россию во мнении Европы и медлительностью успехов в Турции, и неудачами против польских мятежников» (X, 353). Ему же 21 июля 1831 г. пишет о наступлении русских войск: «Вислу мы перешли не видя неприятеля. С часу на час ожидаем важных известий и из Польши, и из Парижа; дело, кажется, обойдется без европейской войны. Дай-то Бог» (X, 368). В письме Вяземскому от 3 августа 1831 г. – о своих опасениях: «Кажется, дело польское кончается; я все еще боюсь: генеральная баталия, как говорил Петр I, дело зело опасное. А если мы и осадим Варшаву (что требует большого числа войск), то Европа будет иметь время вмешаться не в ее дело. Впрочем, Франция одна не сунется; Англии не для чего с нами ссориться, так авось ли выкарабкаемся» (X, 373-374). 14 августа 1831 г. в письме к нему же: «наши дела польские

[1] Иван Иванович Дибич (1785–1831), в 1830–1831гг. – главнокомандующий действующей армией против польских повстанцев.

идут, слава Богу: Варшава окружена<…> они (восставшие. – ПР) хотят сражения; следственно, они будут разбиты, следственно, интервенция Франции опоздает, следственно граф Паскевич[1] удивительно счастлив. <…> Если заварится общая, европейская война, то, право, буду сожалеть о своей женитьбе, разве жену возьму в торока» (X, 376). Таким образом, Пушкин сам готов участвовать в войне, находиться в рядах русских войск. Около 4 сентября 1831 г. Пушкин благодарит П. Миллера[2] за известие о взятии Варшавы: «Поздравляю вас и весь мой Лицей» (X, 381).

В августе – сентябре 1831 г. написаны стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» (день взятия Варшавы совпал с годовщиной Бородинского сражения – 26 августа), напечатанные в сентябре вместе со стихотворением В.А. Жуковского «Старая песня на новый лад» в брошюре «На взятие Варшавы». Пушкин посылает её А.О. Россет, с надписью: «Хотя вам уже знакомы эти стихи, но ввиду того, что сейчас я послал экземпляр их графине Ламберт, справедливо, чтобы и у вас был такой же»[3] (X, 382, 844). О сборнике «На взятие Варшавы» – и в письме к Хитрово: «Вы, полагаю, читали стихи Жуковского и мои: ради бога, исправьте стих

Святыню всех твоих *градов*

Поставьте: (гробов). Речь дет о могилах Ярослава и печерских угодников, что поучительно и имеет какой-то смысл, (градов) ничего не означает» (X, 383, 844-845).

Таким образом, судя по письмам, дневниковым записям, поэтическим произведениям, позиция Пушкина созвучна правительственной политике в отношении Польши и польского восстания. Отсюда и слухи, что одно из стихотворений, «Клеветникам России», написано по желанию государя. Светское общество, придворные круги восхищаются этими стихотворениями. Недругам поэта они дали еще один повод обвинить его в сервильности. Да и некоторые друзья стихотворений не одобрили. Мнение П.А. Вяземского узнаём из его Записной книжки: «Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича. <… > И что опять за святотатство сочетать *Бородино* с *Варшавой?* Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо *Инвалиду*[4] сближать эпохи и события в календарских (так!) своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому, кажется бы, и стыдно. <…> После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские»[5]. Для последних слов приведенной цитаты у Вяземского имелись серьезные основания: подробное письмо Пушкина от 3 августа 1831 г. о бунте в военных поселениях Новгородской губернии. «Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы <…> разграбили дома, изнасильничали жен». (Уже здесь начинает вырисовываться тема бунта, «бессмысленного и беспощадного». – ПР). О приезде в губернию царя, который «действовал смело, даже дерзко, разругал убийц, но объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русский еще не прекращен. <…> Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (X, 373). За несколько дней до этого, Пушкин записал в своем Дневнике: «26 июля 1831 г. Вчера государь император отправился в военные поселения <…> для усмирения возникших там беспорядков». Пушкин не одобряет непосредственное вмешательство царя в события, но отнюдь не из

---

[1] Иван Федорович Паскевич (1782–1856) руководил взятием Варшавы.

[2] Павел Иванович Миллер (1813–1885), лицеист VI курса (1826–1832гг.)

[3] Л.М. Аринштейн считает, что Пушкин «по каким-то причинам не счел нужным или возможным лично передать их Николаю или хотя бы подписать их ему». Посылая сборник Россет, поэт рассчитывал на то, что она передаст его Императору. См.: Аринштейн Л. М. Пушкин: «Видел я трех Царей…». М., 1999. С. 128.

[4]Имеется в виду газета «Русский инвалид».

[5] П.А. Вяземский. Старая записная книжка. М.: Захаров, 2003. С.635, 636.

сочувствия восставшим: «Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими сношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его, как необходимого обряда <…> Россия имеет 12 000 верст в ширину; государь не может явиться везде, где может вспыхнуть мятеж» (VIII, 22-23). И спустя три дня вновь возвращается к описанию этих событий, завершая их панегириком Николаю: «Свидетели с восторгом и с изумлением говорят о мужестве и силе духа императора» (VIII, 25).

***

В рассказе об отношениях Пушкина с Императором следует остановиться на стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один». В канонической версии советского литературоведения считается, что оно посвящено Гнедичу. У меня с первого знакомства со стихотворением эта версия вызывала сомнение.

Существовала и существует другая версия: адресат этого стихотворения – Николай I. Независимо от того, посвятил ли Пушкин стихотворение Императору или нет, оно входило в миф о Пушкине 1830-х гг. как о религиозном, монархически настроенном писателе, выражавшем тенденции высокой русской лирики, ее патриотизм (официальный) и любовь к царю. Миф далеко не во всем соответствует действительности, но вопроса о посвящении он не снимает. Позднее, готовя материал для одного сборника, мне пришлось довольно много работать над названным стихотворением[1].

«С Гомером долго ты беседовал один...» Так начинается стихотворение Пушкина, одно из лучших в его лирике. В советских изданиях оно называется «К Гнедичу». В дореволюционных — «К Н***». Кому оно адресовано? Об этом ведется спор, начатый вскоре после публикации стихотворения и продолжающийся до нашего времени. При жизни поэта оно не печаталось, было обнаружено в бумагах Пушкина после его смерти, без названия и даты. В 1841 г. Жуковский напечатал его, поставив заглавием «К Н***» (судя по всему, публикатор считал, что это послание к Николаю I). Версию адресации стихотворения Николаю I поддержал Н.В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», (письмо X «О лиризме наших поэтов», адресованное В.А. Жуковскому): «Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: „К Н***“. Вот ее происхожденье. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Всё в залах уже собралося; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду»[2] и увлекся нечувствительно ее чтеньем во все то время, когда в залах уже давно гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближенье этих двух противуположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оставило сильное впечатленье, и плодом его была следующая величественная ода»[3]. Далее Гоголь приводит стихотворение. Таким образом, Гоголь присоединился к версии Жуковского, подробно обосновав ее. Тем самым выяснялась и дата создания этого стихотворения: первая половина 1834 г. Рассказав историю посвящения, как бы предчувствуя, что она вызовет возражения, Гоголь аргументировал свою точку зрения. Он писал о гимнах и одах как об особом высоком жанре: в них воспеваются героические события, они посвящены монархам, для них характерна гиперболизация: «Только

---

[1]См.: Рейфман П. С.. «С Гомером долго ты беседовал один» // Историко-филологический сборник в честь Л.Н. Киселевой. М.: ОГИ, 2010. С. 537 – 552.

[2] Напомним, что перевод «Илиады» Н.И. Гнедич посвятил императору и, конечно, послал ему экземпляр.

[3] Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений в 14 т. / гл. ред. Н.Л. Мещеряков. М.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 8, 1952. С. 253–254.

холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине»[1]. По мысли Гоголя, поэтика оды подсказывает систему образов, предполагает библейский высокий стиль, вполне закономерный в послании к монарху и неуместный при обращении к кому-либо другому. Упоминает Гоголь и о том, что Пушкин, при его гордости и независимости мнений, вряд ли мог посвятить такой панегирик кому-то, кроме царя, поставив себя ниже своего адресата. Доводы убедительные, хотя и не безусловные. Этот рассказ Гоголя цензура не пропустила[2] (публикацию об императоре, лицах императорского дома она не имела права разрешать без утверждения свыше).

Версию посвящения стихотворения Николаю поддержала А. О. Смирнова-Россет. Она хорошо знала Пушкина, Гоголя, Жуковского. Гоголь состоял с Россет в активной переписке в пору работы над «Выбранными местами...». В. А. Воропаев, сторонник этой версии (по-моему, вполне убедительно им обоснованной), ссылается на воспоминания Россет: «История, рассказанная в статье "О лиризме наших поэтов", находит подтверждение в "Записках А. О. Смирновой", изданных ее дочерью Ольгой Николаевной Смирновой»[3]. Дело осложняется тем, что сразу же после появления этих записок, началась полемика об их подлинности. Полемика то усиливалась, то затихала вплоть до советского времени. В 1929 г. Л.В. Крестова подготовила издание мемуаров А.О. Смирновой, сопроводив его статьей[4]. Основные ее положения считались в течение шестидесяти лет непреложной истиной. Крестова уверяла, что ни одному слову О. Н. Смирновой нельзя верить. По мнению С.В. Житомирской, Крестова «вынуждена была подчиняться диктату общественных условий, в которых осуществлялось издание. Из него последовательно устранялись, например, все рассказы Смирновой о царской семье и лично Николае I, носящие характер панегирика, опускались доброжелательные характеристики реакционных деятелей той эпохи»[5].

В 2003 г. «Записки...» Смирновой-Россет были переизданы, затем появилась статья В.М. Есипова, признающего, что «Записки...» А. О. Смирновой — источник «очень мутный», что в них множество недостатков, но решительно отвергающего версию фальсификации[6]. В «Записках...» рассказывается о составленном Пушкиным списке произведений, которые Россет передавала царю. Среди них значатся «и стихи, когда государь читал "Илиаду" перед балом. Этот последний факт я рассказала Гоголю, который записал его, так он был им поражен». Пушкин спрашивает у Россет: «Почему вы настаивали на том, чтобы тотчас показать государю стихи по поводу "Илиады"? – Потому, что они прекрасны и доставили ему удовольствие, да вы и сами отлично знаете, что он мне ответил. <...> Он сказал: Я и не подозревал, чтобы Пушкин до такой степени за мною наблюдал и чтобы это даже могло поразить его. Это не поразило никого более из бывших на бале»[7]. Эпизод этот Смирнова-дочь, равно как и ее мать, вполне могла сочинить (он укладывается в их идиллическую картину отношений Николая и Пушкина). Конечно, сторонники версии посвящения Николаю (Жуковский, Гоголь, Смирнова-Россет – довольно авторитетные свидетели) могли создать общий миф. Однако их версия была широко распространена и принята не только сторонниками консервативных концепций. Стихотворение истолковывал подобным образом и М. Лемке, отнюдь не поклонник

---

[1] Там же, с. 252.

[2] Впервые «Выбранные места…» были опубликованы в 1847 году.

[3] Воропаев В. А. Поэт и Царь. Гоголь о монархизме Пушкина // Пушкин и Крым. IX Крымские Пушкинские международные чтения Крым, Гурзуф, 18–21 сент. 1999 г. Симферополь, 2000. С. 19-20.

[4] Крестова Л. В. К вопросу о достоверности так называемых «Записок» А. О. Смирновой // Смирнова А. О. Записки, дневники, воспоминания, письма. М.: Федерация, 1929. С 355–393.

[5] Житомирская С. В. А. О. Смирнова-Россет и ее мемуарное наследие // Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М.: «Наука», 1989. С 627.

[6] Есипов В. «Подлинны по внутренним основаниям » // Новый мир, 2005, № 6. С 140-158.

[7] Смирнова-Россет А. О. Записки. М.: «Наука», 2003. С. 382.

официальных мифов[1].

Вместе с тем уже до революции были сторонники версии посвящения стихотворения Н.И. Гнедичу. Впервые связал его с Гнедичем В.Г. Белинский в третьей статье цикла «Сочинения Александра Пушкина», опубликованной в «Отечественных записках» в 1843 году. Авторитет Белинского велик, но в данном случае он мог и ошибаться. Посвящение стихотворения императору вызвало бурную реакцию С.П. Шевырева, который возмущенно писал Н.В. Гоголю 30 января 1847 года: «Как мог ты сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже?»[2]. Против версии посвящения Николаю выступали В.Ф. Саводник[3] и Н.О. Лернер[4]. В советское время версия посвящения стихотворения Гнедичу стала основной, канонической. Рассказ Н.В. Гоголя сочли выдумкой, о мнении В.А. Жуковского и А.О. Россет обычно не упоминали. Необходимо было доказать, что адресат панегирического стихотворения – не царь. Что и было сделано, довольно убедительно, в статье Н.Ф. Бельчикова[5]. Адресацию стихотворения Гнедичу подтвердил своим авторитетом Б.В. Томашевский (III, 518); её поддержали Б.С. Мейлах[6] и В.Э. Вацуро в превосходной в целом статье «Пушкин в сознании современников» [7]. Итак, казалось, истина окончательно установлена. Стихотворение без всяких оговорок печатается под названием «К Гнедичу». Только в последние годы, в частности, в связи с Пушкинским юбилеем (1999) вспомнили вновь о версии посвящения Николаю. Полемика возобновилась. Сомнение в верности этой версии высказано в книге Л.М. Аринштейна «Пушкин. Непричесанная биография»[8]. С осуждением ее автора выступил Н. В. Перцов: «Можно согласиться с тем, что при отнесении стихотворения к Гнедичу возникает целый ряд неувязок, но, увы, таковые возникают и при безоговорочном отнесении его к Николаю I»[9].

Для понимания стихотворения важны работы В.Э. Вацуро[10] и Л.М. Лотман[11]. Они выводят стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...» из узкого круга вопроса о посвящении и связывают с важными для Пушкина проблемами. Главный вывод Вацуро не вызывает сомнений: стихотворение «не теряет своего значения литературной декларации – одной из важнейших в поздней пушкинской лирике»[12]. Представляются верными и многие частные уточнения: стихотворение закончено в 1834-м., а не в 1832 г., является ответом не на послание Гнедича, а на его книгу «Стихотворения Николая Гнедича». Мне представляется не совсем убедительным стремление автора связать стихотворение с Гнедичем, отмежевав его полностью от варианта посвящения Николаю.

Отмечу, что почти никто из исследователей не упоминает об обстановке первой

---

[1] Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855. Издание 2-ое. СПб.: Изд. С.В.Бунина, 1909. С. 514.

[2] Переписка Н. В. Гоголя. В 2-хтт. М.: «Художественная литература», 1988. Т. 2. С. 345

[3] Саводник В. Ф. Заметки о Пушкине. По поводу стихотворения к Н*** // Русский архив, 1904, №5. С. 140-148.

[4] Пушкин А. С. Собр. Соч. СПб, 1915, т. 6. С. 461–464.

[5] Бельчиков Н. Ф. Пушкин и Гнедич. История послания 1832 г. // Пушкин. Сборник первый / Ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 179–213.

[6]Мейлах Б. С. «С Гомером долго ты беседовал один...» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. История создания и идейно-художественная проблематика / Отв. ред. Н. В. Измайлов / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). Л.: «Наука», 1974, с. 213-221.

[7] Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 34.

[8] Аринштейн Л. М. Пушкин. Непричесанная биография. Издание 4-ое. М.: Российский фонд культуры, 2007. С. 126-131.

[9] Перцов Н. В. Непричесанные мысли о «Непричесанной биографии» // Новый мир. 1999. № 12, с.231

[10] Вацуро В. Э. Поэтический манифест Пушкина // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб.: «Академический проект», 1994. С. 17–29.

[11] Лотман Л. М. Проблема «всемирной отзывчивости» Пушкина и библейские реминисценции в его поэзии и «Борисе Годунове» // Пушкин: Исследования и материалы. СПб., 2004. Т. XVI-XVII. С. 131-147.

[12] Вацуро В. Э. Поэтический манифест Пушкина, с. 28.

половины 1834 г., когда, видимо, создавалось стихотворение. Именно о ней речь идет у Гоголя. Пушкин писал 1 января в «Дневнике», что он «пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)», но «...двору (царю. – П. Р.) хотелось, чтобы Наталия Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau» (VIII, 33)[1]. Что значит это имя? Данжо (де Курсильон), маркиз, академик, придворный летописец, приближенный короля Людовика XIV, вел «Дневник» («Journal du marquis de Dangeau»), охватывавший несколько десятилетий жизни французского двора, педантично фиксируя мелочи придворной жизни. Данжо упоминается только один раз, в приведенной пушкинской фразе. О смысле ее велась длительная полемика, итоги которой словно бы окончательно подвела Л. В. Крестова. Она утверждала, что Данжо воспринимался Пушкиным как писатель-обличитель, объективно показавший разврат двора и высшего духовенства. Пушкин, согласно Л. В. Крестовой, выступая «сатириком-обличителем», создает образ императора: «ограниченного, развратного, грубого, невысокой культуры мелочного человека» [2]. Более содержательно «Дневник» Пушкина и полемика, связанная с ним, проанализированы Я.Л. Левкович[3]. Я.Л. Левкович считает, что Л. В. Крестова внесла «ясность в истолкование записи Пушкина» о русском Данжо, увидев в поэте «летописца и обличителя придворных нравов».

По моему мнению, такая трактовка не соответствует действительности. Думается, упоминание Данжо имеет иной смысл. Задачу обличения самодержавия, скрытой сатиры на царя поэт перед собой не ставил. Он просто в интимном, не предназначенном для печати дневнике записывал свои впечатления о придворной жизни, отлично понимая, почему его сделали камер- юнкером: конечно, не только для того, чтобы жена танцевала в Аничковом, – самого Пушкина надеялись превратить в придворного летописца, в русского Данжо. Имя последнего в применении к себе звучит у великого русского поэта с долей иронии и самоиронии. Пушкин якобы соглашается с навязанным ему амплуа, собираясь не стать Данжо, а играть его роль, которая ему не очень по нутру. В жизни и творчестве поэта ролевая игра имела большое значение[4]. Для роли, играемой Пушкиным, панегирическое стихотворение, адресованное царю, было вполне уместно. Да, это панегирик, но не Николаю и не Гнедичу, хотя первая же строчка могла указывать и на одного, и на другого, но это не так важно. Героем многих стихотворений Пушкина является Истинный поэт, Пророк, послушный только воле Бога, народный, всеслышащий, всевидящий, всемирно отзывчивый, жгущий божественным глаголом сердца людей. В России таким поэтом, которому и посвящено в конечном итоге стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один…», был только сам Пушкин, что он, конечно, хорошо понимал.

***

И буквально несколько слов о событии, которое, возможно, и не произвело особо сильного впечатления на Пушкина. 3 декабря 1832 г. президент Российской Академии А.С. Шишков вошел в Российскую Академию со следующим предложением: «Не благоугодно ли будет г.г. членам Академии в положенное по уставу число избрать в действительные члены Академии нижеследующих особ…». Далее следовали 5 фамилий, под № 1 – Титулярный советник Александр Сергеевич Пушкин. По получении ответов от отсутствовавших на заседании 3 декабря членов Академии состоялись окончательные выборы. П. Катенин вспоминал: «Генваря 7-го 1833-го года мы оба приняты в члены тогда

---

[1] О камер-юнкерстве Пушкина см.: Рейсер С. А. Три строки дневника Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л.: «Наука», 1985. С. 146-152.

[2] Крестова Л. В. Почему Пушкин называл себя «русским Данжо»? (к вопросу об истолковании «Дневника») // Пушкин: Исследования и материалы. М.- Л.: Изд. АН СССР, 1962. Т. IV. С. 267–277.

[3] Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л.: «Наука», 1988.

[4] См. об этом: Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М.: Языки русской культуры, 1998.

существовавшей Российской Академии[1], куда и явились в первый раз вместе; сначала довольно усердно посещал он ее собрания по субботам, но вскоре исключительные толки о Словаре ему наскучили, и он показывался только в необыкновенные дни, когда приступали к выбору новых членов взамен убылых»[2]. Не был Пушкин и на заседании 18 января 1836 года, но на основании отдельно изданной Академией брошюры, написал и напечатал во втором томе своего журнала «Современник» подробный отчет, назвав его «Российская Академия». Среди прочих событий этого дня, упомянул в нём М.Е. Лобанова, который «занял собрание чтением мнения своего «О духе словесности, как иностранной, так и отечественной». Мнение сие заслуживает особенного разбора» (VII, 370). Этот разбор, о котором непременно скажем отдельно, был напечатан в следующем, третьем томе «Современника». Здесь уместно привести завершающие его строки: «Заключим искренним желанием, чтобы Российская академия, уже принесшая истинную пользу нашему прекрасному языку и совершившая столь много знаменитых подвигов, ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством» (VII, 410).

Смерть Пушкина была официально отмечена в протоколе заседания Академии 30 января 1837 г.: «Непременный секретарь исполнил печальный долг возвещением о кончине действительного члена Академии Александра Сергеевича Пушкина, последовавшей сего 29 января <…>. Собрание, приняв с величайшею скорбию сие печальное извещение, определило: во уважение заслуг, оказанных покойным российской словесности, написать на счет Академии, портрет его и поставить в зале собрания». Копия с портрета Пушкина работы О. А. Кипренского была выполнена художником Вишневецким и приобщена к картинной галерее Академии [3].

***

Отношения поэта и Императора, судя по материалам первой части главы, могут показаться идиллическими. Но это далеко не так. 9 сентября 1830 г. Пушкин охарактеризовал их в письме А. Н. Гончарову, деду Наталии Николаевны: «Сношения мои с правительством подобны вешней погоде: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла тучка» (X, 306). На самом деле, тучки находили тотчас после возвращения Пушкина из ссылки, в 1826-1827 гг. Чего стоит хотя бы затянувшаяся история с разрешением «Бориса Годунова». Напомню, что надежды на нового царя связаны были и с возможностью его напечатать: «Таким образом, "Годунова" тиснем» (X, 217). Не тут-то было. Об этом – во второй части главы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТЯГОСТНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ.

(Поэт Пушкин и Император Николай).

Часть вторая.

---

[1] Российская академия создана в 1783 году. В 1841 году, указом Николая I, была присоединена к Императорской Академии наук, став Отделением русского языка и словесности Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук.

[2] Пушкин в воспоминаниях современников. Л.: Гос. изд. худ. лит., 1950. С. 155.

[3] Подробнее об этом см.: Модзалевский Л .Б. Пушкин – член Российской Академии. (По материалам архива Академии наук СССР) // Вестник АН СССР, М.-Л.: Изд. АН СССР, 1937, № 2–3. С. 245–250.

Начало неприятностей. Чтение в Москве «Бориса Годунова». Выговор А.Х. Бенкендорфа. История публикации «Бориса Годунова». Роль Фаддея Булгарина. Разрешение печатать «Годунова» «под личную ответственность». Расследование по поводу отрывка из стихотворения «Андрей Шенье». «Песни о Стеньке Разине», «Сцена из Фауста», виньетка к «Цыганам». Использование имени царя для давления на цензоров. Дело о «Гавриилиаде». Просьба о заграничных поездках. Самовольное путешествие Пушкина на Кавказ. «Моя родословная». Камер-юнкерство Пушкина. Отражение этого события в дневнике и письмах поэта. Перехваченное полицией письмо к жене, негодование Пушкина. Просьба об отставке. Роль В.А. Жуковского в урегулировании конфликта. Материальные трудности. Денежные пособия Николая I. Стихотворение «Анчар». Запрещение поэмы «Медный всадник». Обострение отношений с С.С. Уваровым, придирки к поэме «Анджело». Публикация стихотворения «На выздоровление Лукулла», эпиграммы. Пушкин и периодические издания. Сотрудничество в «Литературной газете». Редактирование «Современника», отношения с цензурой. Статьи Пушкина в «Современнике». Пушкин и Чаадаев. «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева. Дуэль и смерть Пушкина. Отклики печати на смерть Пушкина, реакция властей на эти отклики. Издание сочинений Пушкина. Посмертная оценка Пушкина Николаем I. Пушкинские юбилеи.

В первой части главы я говорил, в основном, о том, что условно можно бы назвать «сторона светлая». Во второй, в основном, пойдет речь о «стороне темной». Впрочем, во второй части иногда будет светлое, как в первой было темное. Последнее начинается сразу после первой встречи с царем. Окрыленный свиданием, сразу же после него (10 сентября 1826 г.) Пушкин читает в Москве «Бориса Годунова» у С.А. Соболевского, затем Д.В. Веневитинова. Бенкендорф узнал об этом и в письме от 30 сентября 1826 г. настойчиво предлагает прежде присылать ему сочинения для передачи императору. Пушкин на письмо не ответил (к чему Бенкендорф не привык), и шеф жандармов делает ему выговор в следующем письме (22 ноября): «доходят до меня сведения, что Вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную Вами трагедию». Он просит сообщить, верно ли это. «Я уверен, впрочем, что Вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере столько великодушного к вам Монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оного». Бенкендорф отлично знал, что Пушкин читал «Годунова», но сделал вид, что даже помыслить не может о таком нарушении царской воли. Тем не менее он напоминает, что «в случае каких-либо новых литературных произведений Ваших, до напечатания или распространения оных представляли бы предварительно о рассмотрении оных или через посредство мое, или даже и прямо Его Императорскому Величеству»[1].

М. Лемке, комментируя это письмо, пишет, ссылаясь на воспоминания А.О. Смирновой: «Любопытно, что когда позднее, в мае 1828 года, государю стало известно о чтении Пушкиным "Годунова" у графа Лаваля, он сказал пожаловавшемуся Бенкендорфу: "Никто не запрещал Пушкину читать свои стихи друзьям. Я его единственный цензор. Впрочем, он это знает"»[2]. Но цензором хотел стать и Бенкендорф, вовсе не желавший ограничиваться ролью беспристрастного посредника. Царь, делая вид, что не понимает этого, иногда выгораживал Пушкина, но и Бенкендорфа не одергивал. Тот постепенно входил в роль цензора, гораздо более строгого и недоброжелательного, чем Николай.

---

[1] Письма Пушкина и к Пушкину: Новые материалы, собранные книгоиздательством «Скорпион» / Ред. и примеч. В. Брюсова. М., 1903. С.36.

[2] Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Издание 2-ое. СПб.: Изд. С.В.Бунина 1909. С. 473.

29 ноября 1826 г., из Пскова, Пушкин пишет ответ главному начальнику III Отделения, оправдывая свое молчание незнанием «хода деловых бумаг», а чтение своих произведений «некоторым особам» тем, «что худо понял высочайшую волю государя». «Никто живее меня не чувствует милость и великодушие государя императора, также как снисходительную благосклонность Вашего превосходительства». Поэт посылает Бенкендорфу рукопись «Бориса Годунова». Рукопись «в том самом виде, как она была мною читана, дабы вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена». Пишет, что «не осмелился прежде сего представить ее глазам императора, намериваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения». Здесь же Пушкин сообщает, что роздал несколько мелких своих сочинений в разные журналы, что попробует остановить их печатание, просит простить его «неумышленную вину». Завершается письмо заверениями в благодарности, уважении, преданности и учтивейшей подписью: «честь имею быть, милостивый государь, Вашего превосходительства всепокорнейший слуга» (X, 218-219). Всё это – чистая дипломатия. Неискренность письма совершенно ясна. После грубых «головомоек», устроенных Бенкендорфом Пушкину, об искренности и думать нельзя. Вся переписка между Бенкендорфом и Пушкиным походит на игру в кошки-мышки. Отклик на выговоры Бенкендорфа находим в письме С.А. Соболевскому от 1 декабря 1826 г.: «освобожденный от цензуры, я должен, однако ж, прежде чем что-нибудь напечатать, представить оное выше; хотя бы безделицу. Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову. Конечно, я в точности выполню высшую волю» (X, 222). А М.П. Погодину он посылает короткое письмо с просьбой остановить как можно скорее в московской цензуре все, что носит его имя: «*такова воля высшего начальства»* (курсив мой. – ПР).

Получив рукопись трагедии и письмо Пушкина от 29 ноября 1826 г., А.Х. Бенкендорф передает их царю, который возвращает письмо с записочкой: «Я очарован письмом Пушкина и мне очень любопытно прочесть его сочинение». Однако «Бориса Годунова» он не торопится читать: «велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы она не распространялась»[1]. Не исключено, что поручение Николая в какой-то степени вызвано и неуверенностью в качестве своего первого самостоятельного цензорского отзыва. Тем же может определяться указание поручить «кому-нибудь верному», т.е. не хотелось, чтобы стало известным, что не сам император составлял отзыв. Может быть, подобных опасений и не было, и царю было просто лень читать. Во всяком случае, 9 декабря 1826 г. Бенкендорф уведомляет Пушкина о получении трагедии и передаче ее царю. «Между тем прошу вас сообщать мне на сей же предмет все и мелкие труды блистательного вашего пера»[2]. Отзыв же о «Борисе Годунове», изложение его содержания, выписки из него Бенкендорф поручает подготовить Ф.В. Булгарину, самому «подходящему» для этой цели человеку.

Следует, однако, помнить, что это происходит до полемики начала 1830-х гг., что Булгарин и Пушкин еще не стали врагами. Так, феврале 1824 г. Пушкин благодарил Булгарина за присылку «Северного архива», за «снисходительный отзыв» » о «Бахчисарайском фонтане»: «Вы принадлежите к малому числу тех литераторов, коих порицания или похвалы могут быть и должны быть уважаемы» (X, 79) и просил опубликовать стихотворения «Элегия» и «Нереида». В ноябре 1827 г. Пушкин заверяет Булгарина, что не забыл своего обещания (вероятно, речь идет о приглашении на обед): «Дельвиг и я непременно явимся к Вам с повинным желудком сегодня <…> Голова и сердце мое давно Ваши» (X, 237). Впрочем, за несколько месяцев до этого, 31 июля, он призывает Дельвига не печатать в «Северных цветах» воспоминания

[1]Выписки из писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I-му о Пушкине. Изд. в переводе граф. Ек.П. Шереметевой, с предисловием и примечаниями Николая Барсукова. СПб.: Тип. М. Стасюлевича , 1903. С. 3.

[2] Письма Пушкина и к Пушкину, с. 38.

Булгарина «Вечер у Карамзина»: «Ей-Богу неприлично <…>. Наше молчание о Карамзине и так неприлично; не Булгарину прерывать его. Это было б еще неприличнее» (X, 233).

Не исключено, что Ф. Булгарин предполагал, какого рода отзыв ждет от него Бенкендорф. Была, вероятно, и зависть к тому благоволению, которое выказал Пушкину царь. При этом Булгарин, работавший в это время над романом «Дмитрий Самозванец», т. е. произведением о той же эпохе, что и «Борис Годунов», видел в Пушкине конкурента[1]. Поэтому задача рецензента свелась к стремлению помешать публикации «Бориса Годунова» (по крайней мере, задержать её), сохраняя видимость объективности, не проявляя открыто недоброжелательства[2]. С этой задачей Булгарин отлично справился. В составленных им для царя замечаниях о «Борисе Годунове» отмечается, что «дух целого сочинения монархический, ибо нигде не введены мечты о свободе, как в других сочинениях сего автора» (не забыл упомянуть об этом. – ПР). Что касается литературного достоинства, то оно «гораздо ниже, нежели мы ожидали. Это не есть подражание Шекспиру, Гёте, Шиллеру: ибо у сих поэтов в сочинениях, составленных из разных эпох, всегда находится связь и целое в пьесах. У Пушкина это разговоры, припоминающие разговоры Вальтера Скотта. Кажется, будто это состав вырванных листов из романа Вальтера Скотта. <…> некоторые места истинно занимательны и народны; но в целом составе нет ничего такого, которое бы показывало сильные порывы чувства или пламенное пиитическое воображение. Все – подражание, от первой сцены до последней. Прекрасных стихов и тирад весьма мало. Некоторые места должно непременно исключить. Говоря сие, должно заметить, что человек с малейшим вкусом и тактом не осмелился бы никогда представить публике выражения, которые нельзя произнесть ни в одном благопристойном трактире! Например, слова Маржерета»[3]. Отмечены сцена с юродивым, слова о царе Ироде; сцена «Девичье поле. Новодевичий монастырь», когда люди плачут, не зная о чем, прося Годунова принять венец; упоминается и лук, которым трут глаза, чтоб вызвать слезы – «Прилично ли так толковать народные чувства?». Сцену в корчме, где монахи «представлены в развратном виде», предлагается смягчить, так как «самый разврат и попойка должна быть облагорожены в поэзии, особенно в отношении к званию монахов». Булгарин также предлагает «решительно выкинуть» весь монолог боярина Пушкина в сцене «Москва. Дом Шуйского», поскольку, «во-первых, царская власть представлена в ужасном виде; во-вторых, явно говорится, что кто только будет обещать свободу крестьянам, тот взбунтует их». И, наконец, подводит итог: «За сими исключениями и поправками, кажется, нет никакого препятствия к напечатанию пьесы. Разумеется, что играть ее невозможно и не должно; ибо у нас не видывали патриарха и монахов на сцене»[4]. Затем следует изложение содержания «Годунова», перечень действующих лиц и места действия. Приводятся выписки из текста Пушкина тех «мест», которые требуют изменения или исключения. Булгарин пытается казаться объективным, но сущность его отзыва явно недоброжелательная. И этот отзыв в значительной степени определил мнение царя, дальнейшую судьбу «Бориса Годунова».

---

[1] См.: Альтшуллер М. Г. Пушкин, Булгарин, Николай I и сэр Вальтер Скотт // Новые безделки. Сборник статей к 60-летию В.Э. Вацуро. М.: Новое Литературное Обозрение, 1995 –1996. С. 284–302.

[2] Это не помешало Булгарину «позаимствовать» некоторые сцены из «Годунова». Когда Пушкин заметил плагиат и стал открыто говорить об этом, Булгарин 18 февраля 1830 г. обратился к Пушкину с письмом, уверяя, что он вообще не читал «Бориса Годунова» и знает о нем только понаслышке. Кроме того, по принципу *сам дурак*, он обвинил в плагиате Пушкина. В рецензии на седьмую главу «Евгения Онегина» он заявил, что Пушкин «взял обильную дань из "Горя от ума" и, просим не прогневаться, из другой известной книги» (имеется в виду роман Булгарина «Иван Выжигин». – ПР) (VII, 691).

[3] Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб.: Изд. Суворина, 1889. Т. 2. С. 219-220.

[4] Там же, с. 221.

Через несколько дней после получения «Замечаний на комедию о Царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» и выписок Бенкендорф передает их царю. Одновременно поданы рукопись «Бориса Годунова» и записка Пушкина «О народном воспитании». Всё это сопровождалось докладной запиской Бенкендорфа. О пьесе: «сочинение не годится для представления на сцене, но с немногими изменениями можно напечатать; если Ваше Величество прикажете, я его ему верну и сообщу замечания, помеченные в выписке, и предупрежу его, чтобы сохранил у себя копию, и чтобы он знал, что он должен быть настороже»[1]. Т.е. отзыв, составленный Булгариным, доходит до императора в изложении такого знатока литературы, как Бенкендорф. В вежливой форме («если царь прикажет») Бенкендорф подсказывает Николаю, как ему поступить в отношении «Бориса Годунова». Ориентированный подобным образом, Николай следует по предложенному пути. Ознакомившись с «Годуновым», он отмечает несколько сцен красным карандашом, на «Замечаниях» же пишет: «Я считаю, что цель г.Пушкина была бы выполнена, если б нужным очищением г.Автор переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скота»[2].

14 декабря 1826 г. А.Х. Бенкендорф уведомляет Пушкина о судьбе «Бориса Годунова»: «Его Величество изволил прочесть оную с большим удовольствием»[3] и дословно приводит пожелание императора «очистить» и «переделать», процитированное выше. Естественно, Бенкендорф не упоминает, что совет царя, по сути, принадлежит Булгарину. Пушкин отвечает на письмо 3 января 1827 г. Он благодарит Бенкендорфа за передачу «всемилостивейшего отзыва его величества», целиком соглашается с тем, что его произведение «более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное» (X, 224) . Ответ полный достоинства, вежливый, но, выражающий несогласие с мнением высочайшего покровителя и цензора.

История с публикацией «Годунова» затягивается на длительное время. 20 июля 1829 года П.А. Плетнев по просьбе В.А. Жуковского передал фон Фоку два рукописных экземпляра «Годунова», чтоб показать, что исправления, требуемые царем, сделаны: «Так как, по желанию автора, я приступаю к печатанию этого сочинения, то не угодно ли будет вам, по сличению оригинала с копиею, подписать последнюю для типографии, а первый возвратить мне для доставления г. Жуковскому»[4]. III Отделение только 30 августа, т.е. спустя полтора месяца, делает всеподданнейший доклад, в котором отмечается, что, несмотря на волю царя, «Годунов» остался драматическим произведением. Николай потребовал прислать текст для прочтения. 10 октября 1829 г. на докладе, сопровождавшем текст «Бориса Годунова», появилась запись: «Высочайшего соизволения не последовало». Пушкину об этом сообщать не торопятся. М.К. Лемке полагает, что таким образом Пушкина наказали за своевольный отъезд на Кавказ[5].

В письме Бенкендорфу от 7 января 1830 г. Пушкин вновь возвращается к вопросу о «Борисе Годунове»: «В мое отсутствие г-н Жуковский хотел напечатать мою трагедию, но не получил на то формального разрешения. Ввиду отсутствия у меня состояния, мне было бы затруднительно лишиться полутора десятков тысяч рублей, которые может мне доставить моя трагедия, и было бы прискорбно отказаться от напечатания сочинения, которое я долго обдумывал и которым наиболее удовлетворен» (X, 266, 806). Две недели спустя из письма Бенкендорфа Пушкин наконец узнает об исходе очередной попытки напечатать трагедию: «Возвращая при сем два рукописные экземпляра комедии Вашей о

---

[1] Выписки из писем, с.3-4.

[2] Дела III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб.: тип. М.П.С., 1906. С. 93.

[3] Письма Пушкина и к Пушкину, с. 39.

[4] Цит. по: Сухомлинов, с. 229.

[5] Лемке, Николаевские жандармы, с. 494.

царе Борисе покорнейше прошу вас, милостивый государь, переменить в оной еще некоторые, слишком тривиальные места. Тогда я вменю себя в приятнейшую обязанность снова представить сие стихотворение Государю Императору»[1].

И лишь весной 1830 г. ситуация наконец разрешилась. И вот каким образом. 16 апреля 1830 г. Пушкин обращается к Бенкендорфу «по совершенно личному обстоятельству»: «Я женюсь на м-ль Гончаровой <…>. Я получил ее согласие и согласие ее матери; два возражения были мне высказаны при этом: мое имущественное состояние и мое положение относительно правительства. Что касается состояния, то я мог ответить, что оно достаточно, благодаря его величеству, который дал мне возможность достойно жить своим трудом. Относительно же моего положения, я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно». Далее Пушкин напоминает об обстоятельствах своей отставки: «Я исключен из службы в 1824 году, и это клеймо на мне осталось <…>. Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя… Счастье мое зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность» (X, 281, 813).

> В своем ответе Бенкендорф подтвердил благожелательное отношение к Пушкину царя. Шеф жандармов писал о том, что полиция никогда не получала приказа наблюдать за Пушкиным, что сам он давал советы как друг, а не как управляющий III Отделения, что царь поручил ему наблюдать за Пушкиным, давать ему советы не как шефу жандармов, а как доверенному человеку. Ложь и лицемерие, но все же цель (успокоить мать невесты поэта) была достигнута. Николай не был противником брака Пушкина.

Вторя часть этого письма Пушкина Бенкендорфу полностью посвящена «Борису Годунову», истории с публикацией трагедии и сводится к тезису, заявленному ранее: благодаря Императору у него есть возможности жить за счет своих «литературных занятий». То есть разрешение напечатать «Годунова» Пушкин предлагает рассматривать как одно из существенных обстоятельств, способствующих устранению помех к его браку. Пушкин чрезвычайно комплиментарно отзывается об отзыве венценосного цензора: «Государь, соблаговолив прочесть ее, сделал мне несколько замечаний о местах слишком вольных, и я должен был признать, что его величество был как нельзя более прав». Затем, по сути, вступает с Николаем I в полемику. «Его внимание привлекли два или три места, потому что они, казалось, являлись намеками на события, в то время еще недавние (декабрьское восстание. – ПР); перечитывая теперь эти места, я сомневаюсь, чтобы их можно было истолковать в таком смысле. Все смуты похожи одна на другую. Драматический писатель не может нести ответственности за слова, которые он влагает в уста исторических личностей. Он должен заставить их говорить в соответствии с установленным их характером. Поэтому надлежит обращать внимание лишь на *дух, в каком задумано все сочинение,* на то впечатление, которое оно должно произвести. Моя трагедия – произведение вполне искреннее, и я по совести не могу вычеркнуть того, что мне представляется существенным». Пушкин понимает, что вступает в весьма опасный спор, и виртуозно чередует свои возражения с выражением «полнейшего почтения», то есть просьбой простить его смелость, настойчивость, вызванные, по его словам, исключительно «нынешними обстоятельствами» (т. е. женитьбой. – ПР). «… я вынужден умолять его величество развязать мне руки и дозволить мне напечатать трагедию в том виде, как я считаю нужным». После довольно категоричного «как я считаю нужным», вновь реверанс: «… мне очень совестно так долго занимать вас собой. Но ваша снисходительность избаловала меня, и хотя я ничем не мог заслужить благодеяний

[1] Письма Пушкина и к Пушкину, с. 52.

государя, я все же надеюсь на него и не перестаю в него верить» (X, 282, 814). Пушкин просит Бенкендорфа сохранить его обращение в тайне[1].

Обычно считается, что основным требованием Николая было переделать драму в роман в духе Вальтер Скотта. В связи с этим возникают некоторые размышления. Любопытно, знал ли царь, что автором отзыва является Булгарин? Николай вполне мог поинтересоваться этим вопросом. А к Фаддею Венедиктовичу царь относился без особого уважения и был недоволен нападками на «Онегина» в «Северной пчеле». Почему же император столь безусловно принял его рекомендацию и так настаивал на её выполнении? И здесь возникает одно предположение: дело заключалось не только (может быть, и не столько) в высказанных требованиях, в том числе о переделке в духе романов Вальтер Скотта[2]. Не исключено, что император оказался более прозорливым цензором, чем кажется на первый взгляд. Читая «Бориса Годунова», даже с большим удовольствием (о чем упоминает Бенкендорф в своем письме Пушкину), царь был встревожен прежде всего тем, что у читателей могут возникнуть аналогии с событиями новейшей истории.

Здесь, пожалуй, надо затронуть, хотя бы кратко, один существенный вопрос. Проблема смены верховной власти – законно, незаконно, преступно, российской, и не российской – всегда интересовала Пушкина. К ней поэт обращался на всем протяжении своего творчества. Она возникает в оде «Вольность» (мотивы французской революции, Наполеона, убийства Павла). Затем «Андрей Шенье», раздумья о восстании декабристов, «История пугачевского бунта», «Капитанская дочка», «Анджело», замысел сочинения о французской революции и пр. Проблема ставилась не в политическом и социальном аспекте, а в философско-этическом. Она не являлась прямой критикой существующего порядка. И все же была неприятна для властей, как в царствование Александра I, так и в эпоху Николая I, особенно в первые годы его царствования. Недаром, еще в начале ноября 1825 г., сразу после окончания «Бориса Годунова», Пушкин писал Вяземскому: «Жуковский говорит, что царь (Александр I. – ПР) меня простит за трагедию – навряд, мой милый. Хотя она и в хорошем духе написана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!»[3] (X, 188-189).

Чрезвычайно важным мне представляется еще одно обстоятельство, которое Н.Я. Эйдельман назвал *художественностью* русской политической истории XVIII-XIX вв. В одной из своих книг он приводит оценку, данную этому периоду В. Ходасевичем. «Того, что в литературе зовется "действием", в этих событиях с избытком хватило бы на несколько драматических хроник, превосходящих шекспировские по внешнему размаху и внутреннему содержанию. Историку этой эпохи жизнь не поскупилась доставить неслыханное количество самого эффектного материала, каким обычно пользуются драматурги. Тут есть рождения принцев, коронования императоров, их мирные кончины, их свержения, заточения, убиения, их раскрашенные трупы, их призраки; есть гроб одного из них, извлеченный из земли через 34 года и вознесенный на катафалк рядом с гробом неверной его жены; есть тайные браки, любовные придворные интриги <…> есть тоскующие принцессы, пленные короли, лукавые царедворцы <…> есть огромные массы статистов <…>. С ними врываются на подмостки отзвуки колоссальных событий, совершающихся за сценой: войн, мятежей, пожаров. Очень возможно, что упорное стремление к созданию исторической трагедии большого стиля, идущее от Ломоносова и Сумарокова через Державина, Озерова и Княжнина до Пушкина, объясняется не только

---

[1] Очень жаль, что это чрезвычайно важное письмо в примечаниях к 10-томнику никак не прокомментировано.

[2] В цитированном выше письме Бенкендорфу от 16 апреля, Пушкин о переделке «Годунова» в роман «наподобие Вальтера Скотта» вообще не упоминает.

[3] В сцене «Площадь перед собором в Москве» юродивый Николка-Железный колпак говорит Годунову: «Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича». И далее: «нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит».

влиянием чисто литературных обстоятельств, но и реальными переживаниями эпохи, столь насыщенной драматургическим материалом». «Ходасевич, – пишет далее Эйдельман, – подробно рассматривает одну из многих исторических драм, происходивших «на самом деле». Это история воцарения и гибели Павла I, написанная по законам драматургии. «… По имени центрального персонажа, вокруг которого она вся вращается, как вокруг оси, всю эту трагедию можно назвать "Павел". <…> К трем указанным выше актам жизнь должна была приписать четвертый, в котором династическая коллизия еще раз дана в новой своеобразной комбинации (Александр – Константин – Николай) <…>. Сквозь эти мотивы, сложнейше переплетаясь с ними, сквозной нитью пропущена душевная драма Александра I»[1].

Все эти размышления нельзя не учитывать, читая слова Пушкина в письме Вяземскому о том, что царь «навряд» простит его за «Годунова». Александру I и его преемнику, Николаю I, ворошить недавние исторические события, особенно в обстановке второй половины 20-х годов, вовсе не хотелось. Впрочем, «Годунов» и на самом деле написан «в хорошем духе». Никаких прямых или скрытых аналогий с современностью в нем не было. А всё же… [2].

Говоря о «Борисе Годунове», уместно вспомнить, что год создания «Бориса Годунова» - пик увлечения Пушкина В. Шекспиром. Во второй половине июля 1825 г он писал Н. Н. Раевскому-младшему.: «<…> но до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон-трагик! Байрон, который создал всего-навсего один характер <…>, этот самый Байрон распределил между своими героями отдельные черты собственного характера <…>». И далее: «Вспомните Шекспира. Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью …» (X, 162-163, 782-783). Речь идет про обрисовку у Шекспира характеров, сложных и многосторонних, не похожих на однолинейных персонажей Байрона. Но для Пушкина важно и другое – масштаб страстей шекспировских персонажей. Влияние В. Шекспира – не только в движении Пушкина к реализму («истинному романтизму»), в стремлении воссоздать характеры, сложные и противоречивые, с могучими страстями, но и в возникновении в его творчестве темы права поэта судить царей, историю, произносить над ними приговор. Это найдет отражение и в поздних произведениях Пушкина: в его стихах, «Медном всаднике», «Истории пугачевского бунта», «Капитанской дочке».

После многолетних проволочек «Годунов», наконец, был разрешен. Бенкендорф сообщил об этом Пушкину: «его императорское величество разрешает вам напечатать ее за вашей личной ответственностью»[3]. Ему предложено явиться к фон Фоку и взять письменное дозволение. Итак, царь удовлетворил просьбу Пушкина «развязать ему руки». И дело, возможно, не только в том, что к этому побудила его предстоящая женитьба Пушкина. Не исключено, что царь согласился с доводами автора, поскольку прошел ряд лет после воцарения Николая и возможные аналогии потеряли свою остроту. Как и при первой встрече, императору могли понравиться та смелость и то достоинство, с которыми Пушкин защищал свое мнение. Император, не очень-то разбиравшийся в литературе, в данном случае оказался более грамотным читателем и снисходительным цензором, чем Ф.В. Булгарин и его покровитель, шеф III Отделения А.Х. Бенкендорф.
7 мая 1830 г. Пушкин благодарит Бенкендорфа за разрешение «Годунова» и отзыв о своем «положении относительно правительства»: «Лишь представительству вашего превосходительства обязан я новой милостью, дарованной мне государем <…>. В глубине

---

[1] Цит. по: Эйдельман Н. Я. Первый декабрист. М.: Изд-во полит. литературы, 1990. С. 292 –294.

[2] Не случайно, через много десятилетий, против постановки оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» решительно возражал Сталин, тоже умеющий уловить скрытую крамолу.

[3] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 16 тт. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.
Т. 14. Переписка, 1828—1831 гг. 1941. С. 82, 409.

души я всегда в должной мере ценил благожелательность, смею сказать, чисто отеческую, которую проявлял ко мне его величество; я никогда не истолковывал в дурную сторону внимания, которое вам угодно было всегда мне оказывать» (X, 288, 817). Ложь в ответ на ложь. С примесью скрытой иронии. Но и с торжеством победителя. Тогда же, в начале мая, Пушкин писал Плетневу: «Милый! победа! Царь позволяет мне напечатать "Годунова" в первобытной красоте. <…> Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но прилично ли мне, Александру Пушкину, являясь перед Россией с "Борисом Годуновым", заговорить о Фаддее Булгарине?»[1] (X, 287-288).

В конце декабря 1830 г. «Годунов» вышел в свет и представлен царю. 9 января 1831 г. Бенкендорф сообщает Пушкину: «Его Величество Государь Император поручить мне изволил уведомить Вас, что сочинение Ваше: Борис Годунов, изволил читать с особым удовольствием»[2]. В ответном письме Пушкин благодарит за благосклонный отзыв о «Годунове» и добавляет: трагедия обязана «своим появлением не только частному покровительству, которым удостоил меня государь, но и свободе, смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатание». В заключение Пушкин благодарит и Бенкендорфа, «как голос высочайшего благоволения и как человека, принимавшего всегда во мне столь снисходительное участие» (X, 333-334). Можно сомневаться в искренности Пушкина при изъявлении благодарности, но удовлетворение не наигранное: цель достигнута.

> Позднее Пушкин пытался распространить позволение царя печатать «Годунова» под авторскую ответственность и на другие свои произведения. В середине октября 1831 г. он обращается к Бенкендорфу с просьбой о дозволении издать особой книгой стихотворения, напечатанные за три последних года: «В 1829 году Ваше высокопревосходительство изволили мне сообщить, что Государю Императору угодно было впредь положиться на меня в издании моих сочинений. Высочайшая доверенность налагает на меня обязанность быть к самому себе строжайшим цензором, и после того было бы для меня нескромностию вновь подвергать мои сочинения собственному рассмотрению его императорского величества. Но позвольте мне надеяться, что Ваше высокопревосходительство, по всегдашней ко мне благосклонности, удостоите меня предварительного разрешения» (X, 386). Издание «особой книгой» напечатанных ранее стихотворений разрешено. Вероятно, Бенкендорфу было лестно, что обратились непосредственно к нему. Он ответил, что нет препятствий к печатанию. «Для меня всегда приятно быть с Вами в сношениях по предмету Ваших сочинений и потому я прошу Вас всякий раз, когда будете иметь в том надобность, обращаться ко мне со всею искренностью. <…> однако же мне неизвестно, чтобы Его Величество разрешил Вам все Ваши сочинения печатать под одною Вашею только ответственностью. <…> а потому Вам надлежит по-прежнему испрашивать всякий раз Высочайшее Его Величества соизволение на напечатание Ваших сочинений, и если вам угодно будет делать сие чрез посредство мое, то я готов всегда Вам в сем случае содействовать»[3].

***

3 января 1827 года в письме, в котором Пушкин объясняется по поводу чтения им в Москве «Бориса Годунова», он обещает выслать Бенкендорфу, согласно его приказанию, мелкие свои стихотворения. В феврале 1827 г. А.А. Дельвиг, по поручению Пушкина, передал Бенкендорфу поэму «Цыганы», два отрывка из 3 главы «Онегина», стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К ***», с просьбой скорее решить,

---

[1] Любопытно, что, говоря о разрешении «Годунова», Пушкин упоминает о желании «раздавить Булгарина».

[2] Письма Пушкина и к Пушкину, с. 59.

[3] Там же, с. 63.

можно ли их печатать. Присланное поручено кому-то в III Отделении для оценки. Получен положительный отзыв о поэме «Цыганы»: в литературном отношении она – лучшее произведение Пушкина, в роде Байрона. С похвалой рецензент отзывается и о других присланных произведениях. Что касается «19 октября», замечания коснулись упоминания имен – «для тех, кто знает, о ком говорится – лишни». Также было указано, что «вовсе не нужно говорить о своей опале, о несчастьях – когда автор не был в оном; но был милостиво и отечески оштрафован—за такие проступки, за которые в других государствах подвергнули бы суду и жестокому наказанию»[1].

4 марта Бенкендорф сообщил Пушкину о благожелательном отзыве, отметив вместе с тем свое недовольство и удивление: Пушкин доставил стихотворения не сам, а поручил это дело посреднику (т. е. Дельвигу). Сообщая о том, что возвратил сочинения Дельвигу и «представлял оныя Государю Императору», Бенкендорф останавливается на стихотворении «19 октября». Как ни странно, его, в отличие от рецензента, вовсе не смутили строки об опале, а замечание по поводу имен он облекает в изысканную форму: «Позвольте мне одно только примечание: Заглавные буквы друзей в пиесе 19-е октября не могут ли подать повода к неблагоприятным для Вас собственно заключениям?–это предоставляю Вашему рассуждению»[2]. Необходимо вновь оправдываться, что Пушкин и делает. Отвечая на письмо Бенкендорфа, Пушкин объясняет, что посланные стихи давно были переданы Дельвигу и предназначались для альманаха «Северные цветы»; вследствие высочайшей воли пришлось остановить их печатание, поэтому Дельвигу, у которого они находились, поручено было доставить стихи Бенкендорфу. «Чувствительно благодарю Вас за доброжелательное замечание касательно пиесы "19 октября". Непременно напишу барону Дельвигу, чтоб <…> все, что может подать повод к невыгодным для меня заключениям и толкованиям, было им исключено». (X, 226-227).

***

Уже в первые два года милостивой высочайшей опеки (1826-1827) поэту приходилось отчитываться в каждом слове, в каждом поступке, просить разрешение по поводу каждого шага, что не могло не раздражать Пушкина, независимо от его политической позиции и отношения к Николаю I.

24 апреля 1827 г. Пушкин просит А.Х. Бенкендорфа разрешить ему приехать в Петербург, так как этого требуют семейные обстоятельства. Он понимает, что, несмотря на высочайшее прощение, каждый шаг его находится под наблюдением, хотя официально под надзором он не состоит. В ответе Бенкендорфа сообщается, что «Его Величество, соизволяя на прибытие Ваше в С.-Петербург Высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное Русским дворянином Государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полной мере сдержано». Завершает Бенкендорф чрезвычайно галантно: «Мне <…> весьма приятно будет с Вами здесь увидеться и изустно Вас уверить в совершенном почтении, с коим пребываю Вашим покорнейшим слугою А. Бенкендорф»[3]. Легко читается не столь дружеский, сколь многозначительный намек: следует отметиться. Приехав в начале июня в Петербург, Пушкин заехал к Бенкендорфу, не застал его дома, вряд ли очень огорчился этим. Лишь 29 июня он отправил ему короткое письмо, где сообщает, что был у него сразу по приезде, но «не имел счастия найти дома», думал, что его потребуют, когда будет нужно, и потому не решался беспокоить. Теперь Пушкин просит аудиенции, когда и где тому будет угодно.

---

[1] Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб.: Изд. Суворина, 1889 г., т.2. С. 216.

[2] Письма Пушкина и к Пушкину: Новые материалы, собранные книгоиздательством «Скорпион» / Ред. и примеч. Валерия Брюсова. М., 1903. С. 43.

[3] Там же, с. 45.

Бенкендорф тоже не слишком торопится. Он ответил только 5 июля, что весьма рад свидеться на следующий день (т. е. 6 июля) у него на квартире. Неделей ранее, 30 июня 1827 г., Бенкендорф отправил в Москву генералу Волкову запрос по поводу поэмы «Цыганы», виньетка, которой, по его мнению, заслуживает внимания. На ней – изображение кинжала, пронзающего Хартию, разорванной цепи, опрокинутого сосуда с разъяренной змеей, лавровой ветви. Просит узнать, кто ее выбрал, автор или типографщик; вряд ли она была взята случайно. Гостеприимный хозяин готовился к свиданию с Пушкиным. Не получилось. Волков ответил Бенкендорфу как раз в день встречи того с Пушкиным: 6 июля. Оказалось, что виньетка из Парижа и имеется во многих типографиях. Петербургские типографщики несколько раз ее употребляли. Виньетку выбрал автор, отметив ее в книге образцов типографских шрифтов, что все в ней, по его (Волкова) мнению, соответствует сюжету поэмы, Так что вероятная попытка подловить Пушкина, заведя во время свидания разговор о виньетке, не увенчалась успехом. О чем говорили Пушкин и Бенкендорф во время своей встречи 6 июля, неизвестно. Не исключено, что на этой встрече уже затрагивался вопрос о стихотворении «Андрей Шенье».

***

Начинается новая история. Вернее, она началась давно. Подробнейшим образом она описана во многих источниках. Восстановим в памяти очередность событий. Еще осенью 1826 г., когда царь принимал Пушкина, и у него, и у Бенкендорфа имелись сведения о неблагонамеренности поэта. В августе 1826 г. бывшему в Москве военному генерал-полицмейстеру I армии генералу И.Н. Скобелеву доставили стихотворение с заглавием «14-ое декабря» за подписью А. Пушкина, которое ходило в рукописи между офицерами. Скобелев переслал стихотворение шефу жандармов, присоединив копию письма, которое Рылеев писал жене перед казнью («Бог и Государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертию позорною. Да будет его святая воля!»). Бенкендорф, имевший слабое представление о Пушкине до приезда того в Москву, запросил у Скобелева: «Какой это Пушкин, тот самый, который в Пскове, известный сочинитель вольных стихов?». Скобелев ответил: «Мне сказано, что тот, который писать подобные стихи имеет уже запрещение, но отослан к отцу его»[1].

> И.Н. Скобелев запамятовал, что с Пушкиным он уже «встречался». В январе 1824 года, он писал главнокомандующему I армии: «Не лучше ли бы было оному Пушкину <…> запретить издавать развратные стихотворения? <...> Если б сочинитель вредных пасквилей немедленно, в награду, лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше»[2].

Началось следствие. Сначала допросили прапорщика лейб-гвардии Конно-Пионерского эскадрона Л.А. Молчанова. Тот отвечал, что с Пушкиным не знаком, а стихи получил от штабс-капитана Лейб-гвардии Конно-егерского полка А. И. Алексеева. Арестовали и его (всё происходило в Новгороде). Алексеев стихи, видимо, получил от дяди, Ф. Ф. Вигеля, но никаких имен не назвал. Доложили царю. Николай I «повелел, чтобы суд был покончен в возможной поспешности и непременно в продолжении трех дней». Алексеева привезли в Москву и судили военным судом. Суд приговорил его к расстрелу «за содержание у себя и передачу другим возмутительных стихов». К счастью, генерал-адьютант А.Н. Потапов

---

[1]Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина. 1799–1826. Л.: «Наука», 1991. С. 634.

[2] Цит. по: Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя // Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: «Искусство–СПБ», 1995. С. 122. Впервые этот эпизод : Русская старина, 1871. Декабрь. С. 670 и 673.

убедил высокое начальство, что дело не совсем ясно. Желая дело прояснить, решили потребовать от сочинителя Пушкина объяснения. 19 января 1827 г. Московский обер-полицмейстер Д.И. Шульгин вызвал его и задал прелестный вопрос: «Не им ли сочинены известные стихи, когда, и с какою целью они сочинены?». На что Пушкин отвечал, что «не знает, о каких известных стихах идет дело, и просит их увидеть»[1]. Это первое из показаний Пушкина по делу о «преступных стихах». Но, как увидим, далеко не последнее. Поскольку Шульгин сам не знал, о каких стихах идет речь, запросили Новгород. Комиссия военного суда прислала стихи в запечатанном конверте с предписанием предъявить Пушкину, а по прочтении им, вновь запечатать конверт собственной его печатью, отдать полицмейстеру и обязать вернуть бумаги комиссии. Всё было исполнено в точности.

Обратимся к показаниям Пушкина.

27 января 1827 г.: «Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии Андрей Шенье, напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений» (X, 632). Затем Пушкин построчно разбирает стихотворение, показывая, что все сказанное относится исключительно к Французской революции. Завершает очень настойчиво: «Для большей ясности повторяю, что стихи, известные под заглавием 14 декабря, суть отрывок из элегии, названной мною Андрей Шенье» (X, 633).

29 июня 1827 г.: «Элегия Андрей Шенье напечатана в собрании моих стихотворений, вышедших из цензуры 8 окт.1825 года. <…> Опять повторяю, что стихи, найденные у г.Алексеева, взяты из элегии "Андрей Шенье", не пропущены цензурой и заменены точками в печатном подлиннике» (X, 633). Пушкин перечисляет темы, затронутые в найденном отрывке, указывает, что в нем идет речь о взятии Бастилии, о событиях французской революции. «Что же тут общего с несчастным бунтом 14 декабря, уничтоженным тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков?» (X, 634).

24 ноября 1827 г.: «На требование суда узнать от меня: "каким образом случилось, что отрывок из Андрея Шенье, будучи не пропущен цензурою, стал переходить из рук в руки во всем пространстве", отвечаю: стихотворение мое Андрей Шенье было всем известно вполне гораздо прежде его напечатания, потому что я не думал делать из него тайну» (X, 634).

Участники этой истории о «содержании и распространении предосудительных стихов», включая студента А.Ф. Леопольдова, придумавшего название «На 14 декабря», в общем, отделались легким испугом. По делу сочинителя Пушкина решение было вынесено 28 июля 1828 года общим собранием Государственного Совета: «<…> по неприличному выражению его в ответах относительно происшествия 14-го декабря 1825 г. и по духу оного сочинения, в Окт. 1825 г. напечатанного, поручено было иметь в месте его жительства секретный надзор». Велено также «обязать подпискою, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику»[2]. Царь, по сути, умыл руки. Совсем недавно, освободив поэта от обычной цензуры, этим решением он возобновил ее опять, поставив Пушкина, фактически, под двойную цензуру. А ведь в данном случае было ясно, что Пушкин не виноват. Пушкин пишет Бенкендорфу: «Вследствие высочайшего повеления господин обер-полицмейстер требовал от меня подписки в том, что я впредь без предварительной обычной цензуры…(ничего не буду выпускать? – ПР). Повинуюсь священной для меня воле; тем не менее прискорбна мне сия мера. Государь император в минуту для меня незабвенную изволил освободить меня от цензуры, я дал честное слово государю, которому изменить я не могу, не говоря уже о чести дворянина, но и по глубокой, искренней моей

[1] Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.-Л.: Academia, 1935. С.744.
[2] Летопись жизни и творчества Александра Пушкина в 4-х тт. М.: «Слово», 1999. Т. 1. С. 403.

привязанности к царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных моих глазах, и я, твердо чувствую, того не заслуживаю, и дал бы и в том честное мое слово, если б я смел еще надеяться, что оно имеет свою цену. Что касается до цензуры, если государю императору угодно уничтожить милость, мне оказанную, то, с горестью приемля знак царственного гнева, прошу Ваше превосходительство разрешить мне, как надлежит мне впредь поступать с моими сочинениями, которые, как Вам известно, составляют одно мое имущество» (X, 249)[1].

***

В разгар разбирательств с «Андреем Шенье», 20 июля 1827 года отправлены Бенкендорфу и утверждены царем с небольшими замечаниями новые пушкинские произведения: «Ангел», «Стансы», третья глава «Евгения Онегина», «Граф Нулин», «Отрывок из Фауста». Но «Песни о Стеньке Разине», признав их поэтическое достоинство, венценосный цензор счёл неприличными для напечатания. 31 августа 1827 г. Пушкин с радостью сообщает Погодину: «Победа, победа! "Фауста" царь пропустил, кроме двух стихов: *Да модная болезнь, она Недавно нам подарена*». Пушкин просит Погодина показать его письмо цензору (И.М. Снегиреву), который «вопрошал нас, *как мы смели* представить пред очи его высокородия такие стихи!», посоветовать ему «впредь быть учтивее и снисходительнее. <…> Если московская цензура всё-таки будет упрямиться, то напишите мне, а я опять буду беспокоить государя императора всеподданнейшей просьбою и жалобами на неуважение высочайшей его воли» (X, 234). Около 17 декабря 1827 г., посылая Погодину материал для «Московского вестника», Пушкин в конце письма замечает: «Я не лишен прав гражданства и могу быть цензирован нашею цензурою, если хочу, – а с каждым нравоучительным четверостишием я к высшему цензору не полезу – скажите это им» (X, 239). 9 апреля 1829 г. Пушкин пишет уже напрямую цензору Снегиреву короткую записку по поводу своего «замечания» для «Московского телеграфа» (возможно, речь идет об одной из эпиграмм на М. Т. Каченовского). Тон записки напоминает выговор начальника подчиненному и содержит неприкрытую угрозу пожаловаться в высокие инстанции: «Сделайте одолжение объяснить, на каком основании не пропускаете вы мною доставленное замечание в "Московский телеграф"? Мне необходимо, чтоб оно было напечатано, и я принужден буду в случае отказа отнестись к высшему начальству вместе с жалобою на пристрастие не ведаю к кому» (X, 258).

Таким образом, двойная цензура, существовавшая де-факто и до решения суда по делу об «Андрее Шенье», наряду с недостатками, давала возможность некоторого давления на обычных цензоров.

***

1828 год. «Началась турецкая война. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо не принадлежащий к ее составу»[2]. И тогда он просит разрешения шесть или семь месяцев провести в Париже. Последнюю просьбу Бенкендорф царю просто не передал. А далее Пушкину было уже не до Парижа. Летом 1828 г. начинается дело о «Гавриилиаде».

В июне 1828 г. дворовые люди некоего штабс-капитана Митькова донесли петербургскому митрополиту, что «господин их развращает их в понятиях православной веры», читая им по рукописи «развратное сочинение под заглавием Гаврилиады». При доносе была приложена и рукопись поэмы. Дело было доведено до государя, который повелел

---

[1] В Собрании сочинений А. С. Пушкина опубликован черновик. Вероятно, письмо не было отослано.

[2] Путята Н. В. Из записной книжки. // Русский Архив. 1899. Вып.6. Июнь. С. 351.

вести его генерал-губернатору и образовать для разбора особую комиссию из гр. В. Кочубея, гр. П. Толстого и кн. А. Голицына. К ответу вскоре был привлечен и Пушкин, потому ли что на рукописи стояло его имя, или потому, что на него, как на автора поэмы, указал Митьков[1]. Пушкин не признает авторства. На вопросы следственной комиссии: 1) «вами ли писана поэма, известная под названием Гавриилиады?» 2) «В котором году сию поэму вы писали?» 3) «Имеете ли вы и ныне у себя экземпляр этой поэмы? – Если таковой находится, то представьте его» (X, 759), Пушкин отвечает 3-5 августа 1828 г. «1. Не мною. 2. В первый раз видел я Гавриилиаду в Лицее в 15-м или 16-м году и переписал ее; не помню, куда дел ее, но с тех пор не видал ее. 3. Не имею» (X, 635). В черновом наброске показания Пушкин писал: «Знаю только, что ее приписали покойному поэту, кн. Дм. Горчакову» (X, 759). В письме Вяземскому от 1 сентября 1828 г., предполагая, что письмо вскроют, Пушкин также называет автором князя Д. П. Горчакова, умершего в 1824 г.: «Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее. П*рямо, прямо на восток.* Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец "Гавриилиада"; приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Всё это не весело <…>»[2] (X, 250).

19 августа по высочайшему повелению Пушкин «быв призван к с.-петербургскому военному губернатору, спрашиван, от кого именно получил поэму под названием Гавриилиады». Пришлось давать более подробные показания: «Рукопись ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я вероятно в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное» (X, 636). Пушкин продолжает отрицать, что «Гавриилиада» написана им. 28 августа письменные показания Пушкина с отрицанием авторства «Гавриилиады», были доложены Императору. «На докладе, со слов государя, рукою Бенкендорфа написано такое решение: "Гр. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем"»[3]. В резолюции, конечно, присутствовал элемент провокации. Устраивался своеобразный экзамен Пушкину. Но отражалась и вера в его честность, в то, что, услышав царскую оценку: «я его слову верю», Пушкин не сможет более лгать. Это противоречило бы дворянской чести. Невозможно было на доверие не ответить доверием. Такая постановка вопроса подвергала экзамену и самого императора. После правдивого ответа Пушкина нельзя было его наказывать, это значило бы поступить менее благородно, чем он. А наказывать, и весьма сурово, имелись все основания. Вспомним, что за одно сочувственное упоминание об афеизме, Пушкина отправили в ссылку в Михайловское. А здесь шла речь о целой поэме, кощунственной, атеистической, воспринимавшейся как развернутая хула на Новый завет. Экзамен выдержали оба. Вызванный опять в комиссию, Пушкин выслушал слова царя, помолчал, потом спросил: «Могу я написать прямо Государю?». Ему разрешили. Он быстро написал письмо, запечатал его и передал графу Толстому. В Дневнике 1828 г.

---

[1]См.: Брюсов В. Я. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения / Редакция Н.К. Пиксанова. М.-Л.,: Государственное издательство, 1929. С. 46–47.

[2] Ариадна Тыркова-Вильямс высказывает предположение, что в письме П. А. Вяземскому ссылка на авторство умершего Горчакова дана из стремления избежать разногласия в показаниях, если Вяземского будут вызывать в комиссию. – Тыркова, т.2, с. 219. По мнению В.Я. Брюсова, это было «косвенным предупреждением кн. Вяземскому: опровергать в общества слухи об авторстве Пушкина». – Гавриилиада. Полный текст / Вступительная статья и примечания В. Я. Брюсова. Изд. 2-е. М.: Альциона, 1918, с. 41.

[3] Цит. по: Гавриилиада. Полный текст / Вступительная статья и критические примечания В.Я. Брюсова. Изд. 2-е. М.: Альциона, 1918. С. 26–27.

Пушкин записывает: «2 октября. Письмо к царю» (VIII, 21). 16 октября: «Граф Толстой от государя» (VIII, 21). Прочтя письмо, царь приказал прекратить дело.

> Письмо Пушкина царю до нас не дошло. Считается, что в нем Пушкин признал себя автором «Гавриилиады». И я так считаю. Спустя почти 10 лет после описываемых событий, в 1837 году, кн. А. Н. Голицын, член Комиссии по разбору дела о «Гавриилиаде» и лицо, очень близкое к Николаю Павловичу, рассказал Ю.Н. Бартеневу эту историю, которую тот включил в свои мемуары под 30 декабря 1837 г.: «Гавриилиада» Пушкина. Отпирательство Пушкина. Признание. Обращение с ним государя. Важный отзыв самого князя, что не надобно осуждать умерших»[1]. В.Я. Брюсов справедливо полагал, что «Кн. Голицын, по положению своему, мог знать лично от государя содержание письма Пушкина. Только это, неизвестное нам письмо Пушкина и могло быть тем "признанием", о котором говорит Голицын: все другие показания Пушкина были именно "отпирательством"»[2].
>
> Но существует мнение, что поэт не признал авторства, а Николай ему поверил или сделал вид, что поверил. Такой точки зрения придерживается, в частности, Л.И. Вольперт, оправдывающая подобное непризнание. В частной беседе Лариса Ильинична сообщила мне, что на юбилейной Пушкинской конференции 1999 г. в Париже, известный знаток Пушкина Э. Вацуро в своем докладе о Вольтере высказал мнение, что поэт не признал себя автором «Гавриилиады». Но позднее, в докладе, напечатанном в парижском сборнике, автор высказал противоположную точку зрения[3].

Этот эпизод наверняка сыграл весьма существенную роль в изменении отношения Николая к Пушкину. С точки зрения императора, тот оказался недостойным царской благосклонности, автором мерзкой поэмы. Он кроме того еще лгал, лицемерил, подло отрицал свое авторство, перекладывая вину на мертвеца. Николай был человеком религиозным. Поэма должна была вызывать у него крайнее омерзение. Он мог простить это Пушкину, но вряд ли забыть.

***

На всё это наслаивается новая история. 4 марта 1829 г. Пушкин получил подорожную «на проезд от Петербурга до Тифлиса и обратно», подписанную Санкт-Петербургским почт-директором К.Я. Булгаковым. 9 (10) марта он отправляется в Москву, не уведомив Бенкендорфа, который узнал о поездке только 21 марта из записки М.Я. фон Фока: «Можно сильно утверждать, что это путешествие устроено карточными игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют – и конец»[4]. На следующий день Бенкендорф запросил военного генерал-губернатора П.В. Голенищева-Кутузова, позаботился ли тот предписать кавказскому начальству о надзоре за Пушкиным[5], что тот и сделал. И уже 26 марта отчитался об исполнении: «об отъезде отсюда в Тифлис известного стихотворца <…> Пушкина, состоявшего здесь под секретным надзором, довел я до сведения г. Главнокомандующего в Грузии графа Паскевича…»[6]. Пушкин выехал из Москвы в ночь на 2 мая.

---

[1] «Рассказы князя А.Н. Голицына. Из записок Ю.Н. Бартенева» // Русский архив, 1886. Кн. 3, Вып. 6. С. 305-333.

[2] Брюсов В. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения / Редакция Н.К. Пиксанова. М.-Л.: Государственное издательство, 1929. С. 53.

[3] L'Universalité de Pouchkine. Bibliothèque russe de l`Institut d'études slaves.T. CIV (Paris 2000), p.48.

[4] Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб.: Изд. Суворина, 1889, т.2. С. 214.

[5] То же было и позднее, когда Пушкин в 1833 г. собирал материал о Пугачеве. О необходимости наблюдения за ним сообщили оренбургскому губернатору; тот ответил, что специальное наблюдение излишне, т.к. Пушкин живет в его доме.

[6] Летопись жизни и творчества Александра Пушкина в 4-х тт., М.: «Слово», 1999. Т. 3, с. 32.

«Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних, зато увидел Ермолова. <…> Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки.<…> Я пробыл у него часа два. <…> О правительстве и политике не говорили»[1] (VI, 641, 642). Ермолов находился в опале, но это не остановило Пушкина, который высоко его ценил и не скрывал своего отношения к нему. Позднее, в апреле 1833 г., Пушкин предлагал генералу стать издателем его «Записок»[2], если они написаны; если же нет, «удостоить меня чести быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимые сведения и etc», ибо «Ваша слава принадлежит России, и Вы не вправе ее утаивать» (X, 430).

Через 20 дней Пушкин во Владикавказе[3], в конце мая – в Тифлисе, где почти две недели ожидает разрешения И.Ф. Паскевича отправиться в действующую армию. А.Х. Бенкендорф, докладывая императору в конце июля о поездке Пушкина, делал вид, что только сейчас сам о ней узнал. Разгневанный Николай I приказал: предписать губернатору Тифлиса призвать Пушкина и узнать, кто ему позволил поездку в Арзрум. 1 октября Бенкендорф посылает такое предписание, добавив уже от себя: «не оставите заметить г. Пушкину, что сей его поступок легко почесть может своеволием и обратить на него невыгодное внимание»[4]. В ответе губернатор Тифлиса сообщил, что за Пушкиным велось наблюдение, а в Арзрум ему разрешил поехать Паскевич. К моменту начала этой переписки высоких сторон, Пушкин уже дней десять как находился в Москве, затем отправился в Тверскую губернию. Узнав, что Пушкин давно вернулся, Бенкендорф 14 октября 1829 г. пишет ему: «Государь Император, узнав по публичным известиям, что Вы, Милостивый Государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, Высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли Вы сие путешествие. Я же с своей стороны покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в Закавказские страны, не предупредив меня о намерении Вашем сделать сие путешествие»[5]. Письмо отправлено в Москву, Пушкин – в Тверской, но тотчас по приезде в Петербург, он отвечает Бенкендорфу. Он пишет о глубочайшем прискорбии, с которым узнал, что император недоволен его поездкой в Арзрум. «Снисходительность и просвещенная доброта вашего превосходительства и участие, которое вы всегда изволили мне оказывать внушает мне смелость вновь обратиться к вам и объясниться откровенно». Пушкин подробно рассказывает о своем желании увидеться с братом, находящимся вместе с полком в Тифлисе: «Я подумал, что имею право съездить в Тифлис». Не застав там брата, он просил Николая Раевского, друга детства, «выхлопотать» ему разрешение на приезд в лагерь: «раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника». Заявив о своем праве повидаться с братом, Пушкин переходит к привычной уже в переписке с Бенкендорфом покаянно-комплиментарной части. «Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво; но, по крайней мере, здесь нет ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения. Я бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова» (X, 262-263, 804-805). Похоже, Пушкину даже не очень важно, поверят ему или нет.

---

[1]При первой публикации отрывка из «Путешествия…» в 1830 году весь эпизод встречи с Ермоловым был изъят.

[2] Записки («Воспоминания») Ермолова были изданы спустя тридцать лет, в 1863 году.

[3] Булгарин, зная о гневе Бенкендорфа, вызванном несанкционированной поездкой Пушкина, подлил масла в огонь, поместив в «Северной пчеле» заметку о пребывании Пушкина во Владикавказе.

[4] Дела III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб.: тип. М.П.С., 1906. С. 94.

[5] Письма Пушкина и к Пушкину, с. 50.

Главное сделано: поездка состоялась. Все же он сумел удрать на несколько месяцев. Бенкендорф ему не ответил, наверняка понимая неискренность Пушкина и мнимость его «раскаяния». Но делать нечего. Проморгали.

А у Пушкина вновь крепнет желание удрать из России, куда-нибудь, хоть на край света. В начале января 1830 г. он отправляет письмо А.Х. Бенкендорфу. Просит, «пока не женат и не зачислен на службу», разрешить ему «совершить путешествие во Францию или Италию»; если же это не будет дозволено, просить соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством (X, 266, 805-806). Поездку не разрешили, используя как предлог упоминание в письме материальных трудностей: дескать, поездка потребует больших денежных трат, а Пушкина отвлечет от его творчества; миссия же в Китай укомплектована. Об этом Бенкендорф и сообщил Пушкину. Вновь приходится благодарить царя, выражать беспрекословное принятие его решений: «Боже меня сохрани единым словом возразить против воли того, кто осыпал меня столькими благодеяниями. Я бы даже подчинился ей с радостью, будь я только уверен, что не навлек на себя его неудовольствия» (X, 267, 806). 17 марта 1830 г. Бенкендорф выговаривает Пушкину за несанкционированную поездку в Москву. В ответе 21 марта Пушкин напоминает: «В 1826 году получил я от государя императора позволение жить в Москве, а на следующий год от Вашего превосходительства дозволение приехать в Петербург», а об этой поездке даже сообщил, «встретив Вас однажды на гулянии» (X, 275).

Бесконечные придирки и «головомойки» вывели, наконец, Пушкина из терпения. 24 марта 1830 г. он пишет Бенкендорфу: «Несмотря на четыре года уравновешенного поведения, я не приобрел доверия власти. С горестью вижу, что малейшие мои поступки вызывают подозрения и недоброжелательство. <…> я ежеминутно чувствую себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать» (X, 276, 810). Пушкин традиционно отпускает несколько комплиментов Бенкендорфу, но тон письма трагический. В этом же письме – отклик Пушкина на «Анекдот о Гофмане», опубликованный в «Северной пчеле»[1]. «После той гнусной статьи, – пишет Пушкин Бенкендорфу, – которую напечатал он (Ф. Булгарин) обо мне, я считаю его способным на всё. Я не могу не предупредить вас о моих отношениях с этим человеком, так как он может причинить мне бесконечно много зла» (X, 276, 810). Несколько месяцев спустя Булгарин напечатал в «Северной пчеле» «Второе письмо из Карлова на Каменный остров»[2], где идет речь о том, что предок Пушкина, Ганнибал, куплен шкипером за бутылку рома. Пушкин ответил стихотворением «Моя родословная». Поэт предвидел, что за стихотворение, в котором так высокомерно-пренебрежительно упомянута новая знать, ему может достаться. 24 ноября 1831 г. он посылает подробное письмо Бенкендорфу, где вновь говорит об отношениях с Ф. Булгариным, об отпоре, который вынужден был дать ему; сообщает, что послал А. Дельвигу это сочинение и просил поместить его в своей газете. Тот посоветовал ответа не печатать, т.к. смешно защищаться против подобных обвинений. «Я уступил, и тем дело и кончилось; однако несколько списков моего ответа пошло по рукам, о чем я не жалею <…>. Однако ввиду того, что стихи мои могут быть приняты за косвенную сатиру на происхождение некоторых известных фамилий <…>, я счел своим долгом откровенно объяснить вам в чем дело, и приложить при сем стихотворение, о котором идет речь» (X, 391, 846). Бенкендорф и письмо, и присланный текст стихотворения переслал Николаю, надеясь вызвать его гнев. И в своем письме Пушкину дословно воспроизвёл его отзыв: «Вы можете сказать от моего имени Пушкину, что я всецело согласен с мнением его покойного друга Дельвига. Столь низкие и подлые оскорбления, как те, которыми его угостили, бесчестят того, кто их произносит, а не того,

---

[1] «Северная пчела», 14 марта 1830г. (№ 30). По мнению Б. Городецкого, «Анекдот» носит «характер политического доноса» . - П. Городецкий. К истории статьи Пушкина «Несколько слов о мизинце г.Булгарина и о прочем» //Известия Академии наук СССР, ОЛЯ, 1948. Т. VII, вып. 4. С. 330.

[2] «Северная пчела», 7 августа 1830 г. (№94).

к кому они обращены. Единственное оружие против них — презрение. Вот как я поступил бы на его месте. – Что касается его стихов, то я нахожу, что в них много остроумия, но более всего желчи. Для чести его пера и особенно его ума будет лучше, если он не станет распространять их» [1]. Своего Бенкендорф всё же добился. Реакция императора, вероятно, была более мягкой, чем он предполагал, но печатать «Мою родословную» стало невозможно. При жизни Пушкина ее так и не опубликовали. Возможно, обострение отношений между Булгариным и Пушкиным стало дополнительной причиной недоброжелательства Бенкендорфа. Бенкендорф благоволил Ф. Булгарину, с которым можно было не церемониться, чувствовать свое величие, превосходство; он искренне считал его крупным писателем: тот высказывал в своих произведениях *правильные* воззрения, а большего, по Бенкендорфу, не требовалось[2].

***

Возникают сложности и в частной жизни. За несколько месяцев до свадьбы, 31 августа 1830 г. , Пушкин писал П.А. Плетневу: «Милый мой, расскажу тебе всё, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. <…> Чёрт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостию, которой обязан я был Богу и тебе. Грустно, душа моя» (X, 304). Письма сразу после женитьбы выдержаны в совсем другой тональности. А потом снова беспокойство. Ревность (и с той, и с другой стороны). Письма жене. 11-го октября 1833 г., из Болдина: «Не мешай мне, не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем, ни с женихом княжны Любы[3]» (X, 451). 30 октября того же года, Болдино: «Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нём толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели <…> есть чему радоваться! <…> Теперь, мой ангел, целую тебя как ни в чем не бывало, и благодарю за то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, женка; только не загуливайся и меня не забывай». После просьбы описать ее появление на балах, вновь о недопустимости кокетства: «Да, ангел мой, пожалуйста, не кокетничай Я не ревнив, да и знаю, что ты во всё тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю всё, что пахнет московскою барышнею, всё, что не comme il faut , всё, что vulgar …» (X, 454).

Еще одна болевая точка: камер-юнкерство. Оно без конца требовало объяснений-оправданий перед собой и перед другими. Наталье Николаевне нравится придворная жизнь, а Пушкину не по себе. Яснее всего его беспокойство ощущается в Дневнике, в письмах он более сдержан. 1 января 1834 г., делая запись о присвоении звания камер-юнкера, Пушкин добавляет в скобках: «что довольно неприлично моим летам». Затем: «Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau[4]» (VIII, 33). Когда великий князь в театре поздравил его с камер-юнкерством, Пушкин благодарил его так: «Покорнейше благодарю, Ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили» (VIII, 35). Вероятно, царь и сам ощущал некоторую неловкость**.** Он сказал В.Ф. Вяземской: «Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону свое назначение. До сих пор он держал данное мне слово, и я был доволен им» (VIII, 34-35, 575). В Дневнике своём поэт записал: «Государю неугодно

---

[1] Пушкин А.С. ПСС в 16-ти тт. М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959. Т. 14. Переписка, 1828—1831. 1941. С. 443.

[2] Как в басне И.А. Крылова «Музыканты»: «Твой хор горланит вздор! То правда, - отвечал хозяин с умиленьем. - Они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут, и все с прекрасным поведеньем».

[3] С. Д. Безобразов, адъютант ВК Константина Павловича.

[4]Филипп де Курсильон, маркиз де Данжо (1638–1720), автор придворной хроники последних лет царствования Людовика XIV.

было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. Но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного» (VIII, с.50). И с горькой иронией писал жене о своем камер-юнкерском «шутовском кафтане»: «В прошлое воскресение представлялся я к великой княгине (Елене Павловне). Я поехал к её высочеству <…> в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир» (X, с. 488).

Придворная должность потребовала и выполнения определенных обязанностей, тягостных для поэта[1]: обязательного посещения придворных балов и приемов, соблюдения этикета. 17 января 1834 г. на бале у Бобринского, устраивающего блистательные приемы, произошла встреча Пушкина с Николаем: «Государь о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его» (VIII, 35). Оба предпочитают не касаться скользкой темы. 26 января – бал в Аничковом дворце. Пушкин приехал в мундире. Ему сказали, что гости во фраках. Он уехал и на бал не вернулся, а отправился на другой вечер. «Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне: Il aurait puse donner la peine d'aller mettre un frac et de revenir»[2] (VIII, 35, 575). На другом приеме царь сказал жене Пушкина: Est-ce a propos de bottes ou de boutons que votre mari n'est pas venu derniirement?[3] (Мундирные пуговицы. Старуха гр. Бобр.<инская> извиняла меня тем, что у меня не были они нашиты). (VIII, 35-36, 575). 6 марта: «Слава богу! Масленица кончилась, а с нею и балы» (VIII, 36). 17 апреля Пушкин сообщает жене (письмо в Москву): «Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом. Ни за какие благополучия! J' aime mieux avoir le fouet devant tout le monde, как говорит M-r Jourdain»[4] . И в этом же письме: «<…> нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться <…> к Литте ; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни»[5] (X, 473). «Головомойка» на этот раз касалась не лично Пушкина, а все же была неприятна, «Литта во дворце толковал с большим жаром, говоря: Il y a cependant pour les Messieurs de la Cour des règles fixes, des règles fixes[6]. На что Нарышкин ему заметил: Vous vous trompez: c'est pour les demoiselles d'honneur[7]. Я извинился письменно» (X, 473). О том же – в Дневнике: «Однако ж я не поехал на головомытье, а написал изъяснение» (VIII, 47). В тот же вечер он узнал от В.А. Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров: «Если им тяжело выполнять свои обязанности, то я найду средство их избавить» (VIII, 46).

Весной (в апреле) 1834 г. состоялись праздники по поводу совершеннолетия наследника, Александра Николаевича, будущего императора Александра II. 20 – 22 апреля Пушкин пишет жене: «Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибёт» (X, 475). В этом же письме запись,

---

[1] Возможно, поначалу не слишком тягостных: все же интересно. – ПР.

[2] Он мог бы дать себе труд съездить надеть фрак и возвратиться. Попеняйте ему (фр.)

[3] Из-за сапог (т.е. без повода, по капризу) или из-за пуговиц ваш муж не явился в последний раз? (фр.)

[4] Пусть уж лучше меня высекут перед всеми, как говорит господин Журден (фр.)

[5] Подробнее об этом Пушкин пишет в Дневнике: «я не явился в придворную церковь ни к вечерне в субботу, ни к обедне в вербное воскресение (VIII, 46).

[6] «Однако ж для придворных кавалеров существуют определенные правила, определенные правила» (фр.)

[7] «Вы ошибаетесь, это для фрейлин». (фр.). Игра слов: les règles значит и правила, и регулы (месячные).– ПР.

сделанная двумя днями позже: «Сегодня великий князь присягал; я не был на церемонии, потому что рапортуюсь больным, да и в самом деле не очень здоров. <…> С одной стороны, я очень жалею, что не видел сцены исторической, и под старость нельзя мне будет говорить об ней как свидетелю» (X, 476). Оказывается, Пушкин сам на празднествах не присутствовал. Его рассказ – передача «общего мнения». Не без иронии он пишет в Дневнике о трогательном зрелище присяги: плачут царь, императрица, наследник. «Это было вместе торжество государственное и семейственное. <…> Все были в восхищении от необыкновенного зрелища. Многие плакали, а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез (совсем по тексту «Бориса Годунова». – ПР). <…> Петербург полон вестями и толками об минувшем торжестве. Разговоры несносны» (VIII, 47-48). 12 мая 1834 г. Пушкин сообщает жене об ожидаемых приемах по поводу приезда прусского принца: «Надеюсь не быть ни на одном празднике. Одна мне и есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое» (X, 484). Придворная жизнь вызывает у поэта явное раздражение, но оно вовсе не связано с политическим вольномыслием. Так, он «выехал из Петербурга за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать на церемонии вместе с камер-юнкерами, – своими товарищами» (VIII, 55). А спустя неделю, 5 декабря, записал в Дневнике: «Завтра надобно будет явиться во дворец. У меня еще нет мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами, молокососами 18-летними. Царь рассердится, – да что мне делать?» (VIII, 56). Далее в том же духе: «Я все-таки не был 6-го во дворце – и рапортовался больным. За мною царь хотел прислать фельдъегеря или Арнта[1]» (VIII, 57). Запись 18 декабря: «Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением: быть в 8 ½ в Аничковом, мне в мундирном фраке <…>. В 9 часов мы приехали. На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами; но это еще не всё)» (VIII, 58). Далее следует рассказ, как ему принесли засаленную круглую шляпу. Вся эта пустая и ничтожная возня вокруг ритуала не могла не раздражать поэта. А император весьма серьезно относился к подобным мелочам. Например, к вопросу о придворных дамских мундирах, бархатных, шитых золотом. И это «в настоящее время, бедное и бедственное» (VIII, 28). Запись февраля 1835 г.: «С генваря очень я занят Петром. На балах был раза 3; уезжал с них рано. Придворными сплетнями мало занят. Шиш потомству» (VIII, 62).

***

18 мая 1834 г. Пушкин с негодованием пишет жене о перехваченном и вскрытом письме: «Одно из моих писем попалось полиции <..> тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом». Желание бежать от всего этого: «да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно, когда лет 20 человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя» (X, 485). Подробнее о перехваченном письме – в дневниковой записи от 10 мая. «Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться – и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным» (УШ, 50). Пушкин тяжело переживает случившееся. 3 июня 1834 г. он сообщает жене: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство a la lettre[2]. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности <…> невозможно;

[1] Арендт (Арндт) Николай Федорович (1785–1859), лейб-медик Николая I.
[2] Буквально (фр.)

каторга не в пример лучше». (X, 487, 488). Спустя пять дней, 8 июня 1834 г.: «…я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами <…> Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога» (X, 490).

***

Безусловно, Пушкин не рожден для должности царедворца, эта роль для него всё более невыносима. Формально он находится на государственной службе по Министерству иностранных дел, значит, единственная возможность «удрать в Болдино, да жить барином» – отставка. 15 июня 1834 г. Пушкин пишет Бенкендорфу: «Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу и покорнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение». Здесь же, как о «последней милости», содержится просьба не отменять разрешения на посещение архивов (X, 493-494, 857). Около 28 июня – жене: «Я крепко думаю об отставке». Повинившись перед Натальей Николаевной, что в карты проигрался, находит оправдание: « Я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь. Всё тот (император. – ПР) виноват; но бог с ним; отпустил бы лишь меня восвояси» (X, 496).

Царь возмущен. Он привык увольнять неугодных ему лиц. Но уходить по своей собственной инициативе, когда император не выразил такого желания, – это возмутительное своеволие, чуть ли не бунт. Похоже, Николай искренне верит, что Пушкин оскорбил его, презрев все милости, которые ему были оказаны. В каждом слове царя по поводу отставки Пушкина ощущается смертельная обида. 30 июня А.Х. Бенкендорф известил поэта, что царь, «не желая никого удерживать против воли», отставку принимает, но право посещать архивы «может принадлежать единственно людям, пользующимся особенно доверенностью начальства»[1], т.е. находящимся на службе и, значит, Пушкин такого права лишается.

Начинается интенсивный обмен письмами с Бенкендорфом и В.А. Жуковским, который принял во всей этой истории самое деятельное участие. 2 июля он писал Пушкину: «Государь опять говорил со мной о тебе. Если бы я знал наперед, что побудило тебя взять отставку, я бы мог ему объяснить всё, но так как я сам не понимаю, что могло тебя заставить сделать глупость, то мне и ему нечего было отвечать. Я только спросил: "Нельзя ли как этого поправить?" – «Почему ж нельзя? – отвечал он. – Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое". Это меня истинно трогает, а ты делай, как разумеешь»[2]. По сути, царь заявлял, что при отставке Пушкина они делаются врагами. Пушкин вынужден взять свое прошение обратно. 3 июля он обращается к А.Х. Бенкендорфу: «Несколько дней тому назад я имел честь обратиться к вашему сиятельству с просьбой о разрешении оставить службу. Так как поступок этот неблаговиден, покорнейше прошу вас, граф, не давать хода моему прошению. Я предпочитаю казаться легкомысленным, чем быть неблагодарным» (X, 498-499, 858). В этом же письме Пушкин просит отпуск на несколько месяцев. На следующий день, 4 июля, Пушкин сообщает Жуковскому об этом письме и подробнейшим образом излагает все причины, побудившие его подать прошение об отставке. «Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и всё. Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело; перемена жизни почти необходима». Но всё это изъяснять Бенкендорфу ему не достало духа, поэтому «письмо <…> могло показаться сухо, а оно просто глупо». О своем намерении

---

[1] Вересаев В. В. Сочинения в четырех томах. М., 1990, т.3. С. 49.

[2] Жуковский В.А. Сочинения в трех томах. М.: Художественная литература, 1980. Т.3. С. 453.

писать государю: «не смею – особенно теперь. Оправдания мои будут похожи на просьбы, а он уж и так много сделал для меня». О том, что получил еще два письма Жуковского (содержащие упреки и советы. – ПР). И концовка: «Но что ж мне делать! Буду еще писать к гр. Бенкендорфу» (X, 499). Покаянное письмо Бенкендорфу написано в тот же день, 4 июля. Пушкин выражает крайнее огорчение, что необдуманное прошение, вынужденное «неприятными обстоятельствами и досадными мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностию и супротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели государем»; будет ждать решения своей участи, «но во всяком случае ничто не изменит чувства глубокой преданности моей к царю и сыновней благодарности за прежние его милости» (X, 500). Посылая письмо Жуковскому от 4 июля Пушкин, видимо, рассчитывал, что тот покажет его Бенкендорфу. И не ошибся. Бенкендорф передал царю письма Пушкина к Жуковскому и к себе, сопроводив их запиской: «Так как он (Пушкин) сознается в том, что просто сделал глупость <…>, то я предполагаю, что Вашему Величеству благоугодно будет смотреть на его первое письмо как будто его вовсе не было. <…> лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе»[1]. Царь согласился с мнением Бенкендорфа: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства»[2]. Приходится оправдываться и каяться, каяться и оправдываться. На этом настаивает и В.А.Жуковской, требуя, чтобы Пушкин «обвинил себя за сделанную глупость<…> с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает»[3]. В другом письме (от 6 июля) Жуковский наставляет: «Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностию. Он тебя до сих пор любил и искренно хотел тебе добра. <…> более всего должен столкнуть с себя упрек в неблагодарности и выразить что-нибудь такое, что непременно должно быть у тебя в сердце к Государю»[4]. Пушкин не понимает, в чем он виноват и в тот же день пишет об этом Жуковскому, упрекавшему его за холодность писем с раскаянием: «Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие – какое тут преступление? какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять всё-таки не могу. <…> Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине сердца своего я чувствую себя правым перед государем: гнев его меня огорчает, но чем хуже положение моё, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? хорошо; да в чем?». Пушкин обещает своему старшему другу явиться к Бенкендорфу и объяснить, что у него на сердце, «но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье» (X, 500-501). В тот же день, 6 июля, написано третье письмо Бенкендорфу: «Подавая в отставку, я думал лишь о семейных делах, затруднительных и тягостных <…> Богом и душою моею клянусь, – это была моя единственная мысль <…> Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения, столько он вложил в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня провидением <…>. И в эту минуту не мысль потерять всемогущего покровителя вызывает во мне печаль, но боязнь оставить в его душе впечатление, которое, к счастью, мною не заслужено» (X, 501, 858-859). Письмо было

---

[1] Выписки из писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I-му о Пушкине. Изданы в переводе граф. Ек.П. Шереметевой, с предисловием и примечаниями Николая Барсукова . СПб.: Тип. М. Стасюлевича , 1903. С. 9.

[2] Там же, с.9-10.

[3] Жуковский. Т.3, с. 454.

[4] Там же, с. 455-456.

доложено царю, сочтено достаточно проникновенным, и Пушкина Николай соизволил простить.

На этом дело об отставке кончилось. О благоволении царя к Пушкину к этому времени и речи не идет. Оба испытывают неприязнь друг к другу. Хотя внешне, как будто, всё сгладилось. 11 июля 1834 г. Пушкин пишет жене: «На днях я чуть было беды не сделал: с *тем* чуть было не побранился. И трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь – другого не наживу. А долго на него сердиться не умею; хоть и он не прав» (X, 503). В другом письме, написанном вероятно, в промежутке между 11 и 14 июля, подробнее об этом: «На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй[1], а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я струхнул, и Христом и богом прошу, чтоб мне отставку не давали» (X. 505). Об этом пишет Пушкин и в Дневнике: 22 июля. «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, – но всё перемололось. Однако это мне не пройдет» (VIII, 54). Как в воду глядел.

***

Материальные трудности. О них многократно упоминается в письмах. Выше шла речь о том, что в начале 1834 г. Пушкину была выдана ссуда (20 тыс. руб.) на издание «Истории Пугачева». Пришлось снова просить деньги у царя. 22 июля 1835 г. Пушкин пишет Бенкендорфу о необходимости откровенно объяснить свое положение: за последние пять лет жизни в Петербурге он задолжал около 60 тыс. рублей; единственными средствами привести в порядок дела «либо удалиться в деревню, либо единовременно занять крупную сумму денег». Затем следуют фразы о благодарности и преданности царю, о понимании, что не имеет «решительно никакого права на благодеяния его величества и что <…> невозможно просить чего-либо ». Пушкин прямо не высказывает просьбы о правительственной ссуде, но намекает на нее, на возможное содействие А.Х. Бенкендорфа: «вам, граф, еще раз вверяю решение моей участи» (X, 541-542, 867). Бенкендорф ознакомил с письмом царя. Тот предложил Пушкину ссуду в 10 тыс. и отпуск на 6 месяцев. Начинаются переговоры. 26 июля новое письмо Бенкендорфу: о том, что из 60 тысяч долгов половина – долги чести, которые обязательно нужно уплатить; о необходимости вновь прибегнуть «к великодушию государя. Итак, я умоляю его величество оказать мне милость полную и совершенную <…> дав мне возможность уплатить эти 30 000 рублей <…> соизволив разрешить мне смотреть на эту сумму как на заем и приказав, следовательно, приостановить выплату мне жалованья впредь до погашения этого долга» (X, 543, 867). И эта просьба была царем удовлетворена. Начинается переписка с министром финансов Е.Ф. Канкриным по всем денежным вопросам, связанным с займом. В ходе ее возникает еще ряд просьб, большинство из которых, с разрешения царя, выполняются. Николай соглашается на ряд выплат Пушкину, но вряд ли испытывает от этого удовольствие и вряд ли относится к нему с бо'льшим уважением. Подачки авторитета не прибавляют. Раздражение царя нарастает: Пушкин всё время выкидывает какие-то непонятные, неприятные «фортели», да еще и о деньгах постоянно речь заводит. Создается ощущение, что поэт не ценит царской милости. Растет раздражение и у Пушкина, поставленного в жалкое, унизительное положение просителя.

С политической позицией Пушкина, с оценкой его творчества, с вопросом о цензуре финансовые проблемы связи не имеют. Но без учёта сказанного нельзя понять темы «поэт и царь». А Николай ведь был еще и цензором Пушкина.

***

---

[1] 3 июля Жуковский писал Пушкину: «А ты ведь человек глупый, теперь я в этом совершенно уверен. Не только глупый, но еще и поведения непристойного: как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал, не сказать мне о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому – не понимаю! Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость!» (Жуковский, т.3, с.454).

7 февраля 1832 г. А.Х. Бенкендорф требует объяснить, почему стихотворение «Анчар» напечатано в альманахе «Северные цветы»[1] без высочайшего разрешения. В тот же день Пушкин отвечает, что милость царя (его цензура. – ПР*)* не лишает его «права, данного государем всем подданным: печатать с дозволения цензуры. В течение последних шести лет во всех журналах и альманахах, с ведома моего и без ведома, стихотворения мои печатались беспрепятственно, и никогда не было о том ни малейшего замечания ни мне, ни цензуре. Даже я, совестясь беспокоить поминутно его величество, раза два обращался к Вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастие найти в Вас более снисходительности, нежели в ней» (X, 405). Бенкендорф требует, чтобы Пушкин посылал ему стихи, которые он и журналисты захотят печатать. Т. е. предлагается уже не царский надзор, а непосредственно цензура Бенкендорфа. 18-24 февраля 1832 г. Пушкин пишет черновик своего письма Бенкендорфу, в котором вновь возвращается к тому, что ему всегда было тяжело и совестно «озабочивать царя стихотворными безделицами». В то же время, приводя благовидные предлоги, Пушкин решительно отвергает право Бенкендорфа на цензуру своих произведений. Он мотивирует это тем, что Бенкендорфа часто не бывает в Петербурге. Но пишет и о другом, более существенном: «сие представляет разные неудобства <…> Подвергаясь один особой, от Вас единственно зависящей цензуре – я, вопреки права, данного государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом – сия цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения, allusions и затруднительности – а обвинения в применениях и подразумениях (так!) не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом *дерево* будут разуметь конституцию, а под словом *стрела* самодержавие. Осмеливаюсь просить об одной милости: впредь иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к обыкновенной цензуре» (X, 407-408). Письмо (черновик) весьма резкое. В окончательный вариант, отосланный вместе со стихотворением «Анчар», войдет лишь благодарность за подарок (Свод законов) и просьба о разрешении работать с библиотекой Вольтера, хранящейся в Эрмитаже.

***

Осенью 1833 года, в Болдине, закончена поэма «Медный всадник», которая ориентирована и на поэму А. Мицкевича «Дзяды» («Деды»). Мицкевич с враждебностью пишет обо всем, что относится к России, к Петербургу. В его поэме ощущается отзвук польского восстания 1830 г. Пушкинская поэма – полемический ответ Мицкевичу – утверждает правду Петра, которая торжествует. И Пушкин принимает эту правду. Но закономерна и правда маленького человека, героя поэмы, Евгения. Первая соответствовала требованиям властей. Вторая им не отвечала. Николай проявил себя чутким цензором, хорошо понимающим, что нужно запретить, а что можно и позволить. На рукописи сохранился ряд замечаний венценосного цензора. В частности, царь не пропустил слова «кумир», зачеркнул стихи: «И перед младшею столицей <…> порфироносная вдова». На рукописи поставлено много знаков вопроса, NB. Пушкин после прочтения поэмы царем сперва кое-что правил, потом перестал делать это, более Николаю поэмы не подавал. В журнале «Библиотека для чтения» в 1834 г. было напечатано лишь начало поэмы, которое не противоречило официальной идеологии[2]. Пушкин тяжело переживал запрет. «Медный всадник» – одно из самых значительных его произведений, особенно ценимое поэтом. Повторялась история с «Борисом Годуновым», которую Пушкин, вероятно, вспоминал.

---

[1] Анчар, древо яда («В пустыне чахлой и скупой...») — Северные Цветы на 1832 год. СПб., в типографии Департамента Внешней Торговли. 1831. Отдел: поэзия. С. 113—115.

[2] «Медный всадник» опубликован с исправлениями В.А. Жуковского после смерти Пушкина, в 5 томе журнала «Современник».

***

Пушкин, которого многие, одобряя или порицая, считали поэтом «чистого искусства», всё время думает об издании своего журнала. Ещё в начале 1826 года он писал П.А. Катенину: « не затеять ли нам журнала в роде Edinburgh review? Голос истинной критики необходим у нас; кому же как не тебе забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика» (X, 200). 27 мая 1826 г. в письме П.А. Вяземскому Пушкин обращается к той же теме: «Пора бы нам отослать и Булгарина, и «Благонамернного», и Полевого, друга нашего. Теперь не до того, а ей-богу когда-нибудь примусь за журнал». И о Катенине: «А для журнала – он находка» (X, 207). 9 ноября 1826 г. в письме Вяземскому: «Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно. <…> «Может быть, не Погодин, а я буду хозяин нового журнала» (X, 216, 217). Редактором нового журнала стал все же М.П. Погодин, но Пушкин принимал в нём самое активное участие. 21 декабря 1826 г. Н.М. Языкову: «Вы знаете по газетам, что я участвую в "Московском вестнике", следственно и вы также» (X, 223). В письме Дельвигу 31 июля 1827 г.: «Вспомни, что у меня на руках "Московский вестник" и что я не могу его оставить на произвол судьбы и Погодина» (X, 233). Из писем ясно, что издание «Московского вестника» поэт воспринимает как личное дело, а не как мимолетное сотрудничество.

В 1830-31 гг. – активное сотрудничество в «Литературной газете». Пушкин не только помещает в ней свои произведения, но принимает самое непосредственное участие в редактировании, особенно в отсутствие А.А. Дельвига. Он ведет переговоры с цензурой, с авторами, определяет отзывы на вышедшие произведения и пр. 11 января 1830 г. Пушкин благодарит М.Н. Загоскина за присланный роман «Юрий Милославский», поздравляет его «с успехом полным и заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи» и сообщает, что «Литературная газета» поместит о романе статью А.А. Погорельского, «если в ней не всё будет высказано, то постараюсь досказать» (X, 266). В письме Вяземскому конца января 1830 г. Пушкин просит поскорее отослать Дельвига в Петербург: «Скучно издавать газету одному с помощью Ореста (Сомова. – ПР), несносного друга и товарища» (X, 269). Здесь же он просит слать побольше прозы, благодарит за уже присланное. Черновик письма К.М. Бороздину 4 февраля 1830 г.: издателям «Литературной газеты» дали недавно цензором, вместо К.С. Сербиновича, профессора Щеглова, «который своими замечаниями поминутно напоминает лучшие времена Бирукова и Красовского»; нельзя ли назначить другого цензора, если невозможно возвратить Сербиновича (X, 272).

Завязывается полемика между «Литературной газетой» и «Северной пчелой». Она становится всё острее. Царь иногда становится на сторону Пушкина. Бенкендорф всегда защищает Булгарина. В конечном итоге, царь почти всегда присоединяется к мнению Бенкендорфа. Так что «Литературная газета» просуществовала не долго. После прекращения её, Пушкин продолжает думать о журнальной деятельности, одновременно ругательски ругая ремесло журналиста в России.

***

Еще во время выхода «Литературной газеты», Пушкин хотел расширить рамки ее программы или получить право на новое издание. 2 мая 1830 г. Пушкин, призывая П.А. Вяземского сотрудничать в «Литературной газете», «покамест нет у нас другой», звал его в Москву: «мы поговорим об газете или альманахе». Об издании, которое должно подорвать монополию Ф. Булгарина: «Но неужто Булгарину отдали монополию политических новостей? Неужто, кроме "Северной пчелы", ни один журнал не смеет у нас объявить, что в Мексике было землетрясение и что Камера депутатов закрыта до сентября? Неужто нельзя выхлопотать этого дозволения? справься-ка с молодыми министрами, да и с Бенкендорфом. Тут дело идет не о политических мнениях, но о сухом

изложении происшествий. Да и неприлично правительству заключать союз – с кем? с Булгариным и Гречем. Пожалуйста, поговори об этом, но втайне: если Булгарин будет это подозревать, то он, по своему обыкновению, пустится в доносы и клевету – и с ним не справишься» (X, 285). Таким образом, Пушкин думает о газете не только литературной, но и об издании с политической хроникой.

Об этом или чем-либо подобном шла речь в черновике письма Бенкендорфу от 19 июля – 10 августа 1830 г., многие положения которого вошли в письмо шефу жандармов почти 2 года спустя – в мае 1832 года. Указав на монополизм «Северной пчелы», единственной, которой разрешено печатать политические известия, Пушкин пишет о необходимости восстановления равновесия: «В сем-то отношении осмеливаюсь просить о разрешении печатать политические заграничные новости в журнале, издаваемом бароном Дельлвигом или мною». Далее он довольно подробно определяет характер издания: «Направление политических статей зависит и должно зависеть от правительства, и в этом издатели священной обязанностью полагают добросовестно ему повиноваться и не только строго соображаться с решениями цензора, но и сами готовы отвечать за каждую строчку, напечатанную в их журнале. Злонамеренность или недоброжелательство были бы с их стороны столь же безрассудны, как и неблагодарны» (X, 638-639). Пушкин стремится во что бы то ни стало получить разрешение на периодическое издание. В мае-июне (?) 1831 г. он обращается к управляющему III отделением М.Я. фон Фоку, подает ему черновик прошения о газете, просит его совета, почему-то надеясь на его поддержку. Лукавый Фок ответил, что польщен доверием, но ничем не может помочь, поскольку «далек от того, чтобы покровительствовать одному какому-нибудь литератору, кто бы он ни был, за счет его собратьев. <…> мне приписали влияние, которым я никогда не пользовался и которое было бы совершенно противоположно моим принципам. Я знаю издателей "Северной Пчелы" лучше других по прежним, чисто светским отношениям; это единственные литераторы, которые изредка навещают меня и с которыми я иногда обмениваюсь литературными мнениями, не всегда, впрочем, становясь на их сторону. Таким образом, пристрастие к этим господам мне приписывают совершенно безосновательно и даже не без зложелательства. Что касается политических статей, которые я им изредка посылаю для напечатания в их газете, то я делаю это ex officio, по поручению генерала Бенкендорфа, который обычно скрепляет их своей подписью. По этой самой причине осмеливаюсь думать, что вы, быть может, хорошо бы сделали, обратившись с вашим проектом к генералу Бенкендорфу, который неоднократно давал явные доказательства своей особой к вам благосклонности». В конце письма фон Фок желает блестящего успеха задуманному Пушкиным предприятию: «я несомненно одним из первых буду радоваться и поздравлю публику с тем, что замечательный талант, подобный вашему, в такой же мере будет доставлять ей удовольствие, как и способствовать ее просвещению»[1]. Письмо иронично и насмешливо, оно вполне проясняет реальную ситуацию: надежды *обойти* Бенкендорфа напрасны; только с его разрешения, никак иначе. Это разрешение Пушкин пытается получить спустя месяц после ответа фон Фока. В 20-х числа июля он пишет А.Х. Бенкендорфу: «Если государю императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностию и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей <…> С радостию взялся бы я за редакцию *политического* и *литературного* журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованием и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые всё еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению» (X, 639-640). Надежды сменяются разочарованиями, разочарования надеждами. 3-го сентября 1831 г. Пушкин отвечает П.А. Вяземскому на его вопрос о журнале: «Ты пишешь о журнале; да, чёрта с два! кто нам разрешит журнал?

---

[1] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 16 тт. М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959.Т. 14. Переписка, 1828—1831. 1941. С. 171, 427.

Фон-Фок умер, того и гляди поступит на его место Греч. Хороши мы будем! О газете политической нечего и думать, но журнал ежемесячный, или четыремесячный, третейский можно бы нам попробовать…» (X, 380). В мае 1832 года пытается объяснить Бенкендорфу свое стремление заняться издательской деятельностью: «доходы мои ограничены тем, что доставляет мне мой труд. Мое положение может обеспечить литературное предприятие, о разрешении которого я ходатайствую, – а именно, стать во главе газеты, о которой господин Жуковский, как он мне сказал, говорил с вами» (X, 411, 849-850). Вероятно, довод оказался понятным Бенкендорфу, а потому убедительным. Не лишним было и вмешательство Жуковского. В любом случае, уже в начале июня 1832 г. князь Вяземский сообщил И.И. Дмитриеву о том, что Пушкину обещано разрешение на издание газеты[1].

Пушкин получает разрешение издавать газету с сентября 1832 г. 11 июля 1832 г. он сообщает об этом И.В. Киреевскому: «Мне разрешили на днях политическую и литературную газету»; просьба к братьям Киреевским и Н.М. Языкову о сотрудничестве: «Не оставьте меня, братие! <…> Прошу у Вас советов и помощи» (X, 413). В тот же день Пушкин сообщил М.П. Погодину, которого тоже приглашает сотрудничать, о разрешении газеты: «Знаете ли Вы, что государь разрешил мне политическую газету? Дело важное, ибо монополия Греча и Булгарина пала. Вы чувствуете, что дело без Вас не обойдется» (X, 414). Эта быстро распространившаяся новость встревожила «грачей-разбойников» – Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча. Греч ведет переговоры с Пушкиным, сообщая о каждом разговоре Булгарину. В конце августа Греч сообщает Булгарину, что встретился с Пушкиным на улице, что тот предложил ему издавать вместе газету. Пушкин действительно намеревался привлечь к изданию газеты Н.И. Греча, в расчете на его деловые качества и, возможно, репутацию благонамеренного журналиста. 3 сентября Греч отчитался перед Булгариным: «Вчера он (Пушкин) был у меня и сделал следующее предложение. С. Пчела остается, как есть. Сына Отечества передаю я (или мы с тобою) ему, то есть: он будет главный издатель, а я редактор. Так как первоначальная цель С. О. 1812 года изменилась, то Пушкин полагает превратить оный в Revue и постараться поставить на ногу, достойную России и Европы. Со мною намерен он делиться прибылью. Я отвечал, что соглашусь на его предложение, спросясь у тебя»[2]. Спустя два дня Пушкин сообщил Гречу, что намерения его изменились: он хочет издавать в половинной доле вместе с Гречем три раза в неделю газету, печатать ее в типографии «Северной пчелы». Это уже можно было расценивать как серьезную угрозу благополучию «Северной пчелы» и Греч считает, что не следует «выпускать из рук» Пушкина и его партию, чтобы к 1834 г. соединить их в одной газете. Похоже, Пушкин растерян, не может прийти к окончательному решению. Тогда же – раздраженное письмо М.П. Погодину, в котором он отвечает на вопрос о программе новой газеты: «Какую программу хотите Вы видеть? часть политическая – официально ничтожная; часть литературная – существенно ничтожная; известия о курсе, о приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся программа. Я хотел уничтожить монополию, и успел. Остальное мало меня интересует» (X, 416). 16 сентября Пушкин даёт доверенность Н. И. Тарасенко-Отрешкову на редактирование и ведение дел по изданию газеты «Дневник» и уезжает в Москву, видимо, для подбора сотрудников. Вероятно, дело не заладилось, концом сентября датировано письмо жене: «Мне пришел в голову роман, и я, вероятно, за него примусь; но покамест голова моя кругом идет при мысли о газете. Как-то слажу с нею?» (X, 421). В середине октября Пушкин возвращается в Петербург и Н. Греч извещает Ф. Булгарина: « Все обстоит благополучно. Пушкин приехал из Москвы, видно с пустыми руками. Еще Пчелка не згинела»[3]. Пушкин пытается узнать у А. Н. Мордвинова, после смерти фон Фока

---

[1] См.: Пиксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник» (1831–1832) // Пушкин и его современники. Вып. V. СПб., 1907. С. 30–74.

[2] Цит. по: Пиксанов, с. 55.

[3] Там же, с. 62.

занявшего его пост, судьбу своего предприятия, на что тот отвечает, что надо подождать возвращения Бенкендорфа, чтобы представить царю образец газеты. Письмо это датировано 21 октября, а спустя месяц, 16 ноября того же года, Греч извещает Булгарина, что Пушкин «образумился» и не будет издавать ни журнала, ни газеты. 2 декабря 1832 г. Пушкин объясняет это П.В. Нащокину иначе: «Мой журнал остановился, потому что долго не приходило разрешение. Нынешний год он издаваться не будет. Я и рад. К будущему успею осмотреться и подготовиться» (X, 423). 9 декабря П.А. Плетнев среди прочих литературных новостей сообщал В.А. Жуковскому в Швейцарию: «Издание газеты, о которой так хлопотал Пушкин еще при вас, едва ли приведется в исполнение, хотя ему и дано на то право. Он более роется теперь по своему главному труду, т. е. по истории, да кажется в его голове и роман копышется»[1].

***

Вопрос об издании газеты возникает вновь весной 1835 г. Но прежде, чем говорить об этом, следует внимательно присмотреться к С.С. Уварову и проследить, как менялись его отношения с Пушкиным.

Середина 1830 гг. – время наибольшего влияния Уварова. Он в фаворе. К Пушкину относится совсем не плохо. Летом 1831 года Уваров готов поддержать проект основания пушкинской газеты «Дневник», а также выражает желание увидеть Пушкина почетным членом Академии Наук. Об этом Ф.Ф. Вигель писал Пушкину: «Он (Уваров. – ПР) с жаром, я сказал бы даже – с детской непосредственностью ухватился за идею вашего проекта. Он обещает, клянется помочь его осуществлению; с того момента, как он уверился в ваших благих намерениях, он готов преклоняться перед вашим талантом, которым до сих пор только восхищался. Ему не терпится увидеть вас почетным членом своей Академии Наук; первое свободное академическое кресло у Шишкова должно быть предназначено вам, оставлено за вами»[2]. В сентябре 1831, он, «восхищенный прекрасными, истинно народными стихами», перевёл на французский язык «Клеветникам России», а позже послал перевод Пушкину. Не мудрено. Кажется, что Пушкин пользуется милостью царя.

> Князь М.А. Дондуков-Корсаков доставил поэту этот вольный перевод. В письме С.С. Уварову от 21 октября 1831 г. Пушкин благодарит его за «прекрасные, истинно вдохновенные стихи, которые угодно было Вашей скромности назвать подражанием. Стихи мои послужили Вам простою темою для развития гениальной фантазии. Мне остается от сердца Вас благодарить за внимание, мне оказанное, и за силу и полноту мыслей, великодушно мне присвоенных Вами. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь, Вашего превосходительства покорнейшим слугою. Александр Пушкин» (X, 387). Письмо, на первый взгляд, в высшей степени дипломатичное, но и насмешливое.

В сентябре 1832 г. С.С. Уваров инспектируя Московский университет, приглашает Пушкина посетить лекцию профессора И.И. Давыдова. «Вот вам теория искусства, – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, – а вот и самое искусство», – прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную»[3], - вспоминал один из студентов. 16 декабря 1832 г. Уваров проголосовал за избрание Пушкина членом Российской Академии. Весной 1834 г. Пушкин хлопочет перед С.С. Уваровым о месте в Киеве для Н.В. Гоголя и пишет тому о

---

[1] Сочинения и переписка П.А. Плетнева, типография Императорской Академии наук, 1885, т. III. С. 521.

[2] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 16 тт. М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959. Т. 14. Переписка, 1828—1831. 1941. С. 202, 433-434.

[3] Гончаров И. А. Из воспоминаний // Пушкин в воспоминаниях современников. Л.: «Художественная литература», 1950. С. 437.

министре, как о человеке, с которым он лично общается: «пойду сегодня же назидать Уварова» (X, 484). 7 апреля 1834 г., отмечая в своём Дневнике запрещение «Московского телеграфа», Пушкин пишет без всякого осуждения: «Уваров представил государю выписки, веденные несколько месяцев и обнаруживающие неблагонамеренное направление, данное Полевым его журналу» (VIII, 42-43). 10 апреля Пушкин был на вечере у Уварова, говорил с ним о старинных рукописях, которые П.П. Свиньин предлагал купить Академии (VIII, 44). Но в том же 1834 году отношения коренным образом меняются[1]. Уварова, видимо, оскорбило, что материалы о разрешении пушкинской газеты «Дневник» шли через Министерство внутренних дел, через III Отделение, а не через Министерство просвещения. Уваров резко бранит пушкинскую «Историю Пугачева». Пушкин отмечает это в Дневнике за февраль 1835 г.: «Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. <…> он начал тем, что был б…, потом нянькой, и попал в президенты Академии Наук как княгиня Дашкова в президенты Российской академии. Он крал казенные дрова и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу etc. etc.». (VIII, 63).

В декабре 1833 года Пушкин получил разрешение Бенкендорфа на напечатание на общих основаниях сочинений, предназначенных для издателя А.Ф. Смирдина. 9 апреля 1834 года цензор А.В. Никитенко записал в своем дневнике: «Я представил ему (Уварову) еще сочинение или перевод Пушкина "Анджело". Прежде государь сам рассматривал его поэмы, и я не знал, имею ли я право цензировать (так!) их. Теперь министр приказал мне поступать в отношении к Пушкину на общем основании. Он сам прочел "Анджело" и потребовал, чтобы несколько стихов были исключены»[2]. Узнав о купюрах в тексте поэмы, Пушкин, по выражению того же Никитенко, «взбесился». Изуродованная министром просвещения поэма «Анджело» была напечатана в альманахе «Новоселье» [3]. В ноябре 1834 года Пушкин отправил в канцелярию III отделения подготовленный к печати II том своих поэм и повестей[4]. Благополучно пройдя высочайшую цензуру, поэма «Анджело» по требованию Уварова была напечатана точь-в-точь по изданию «Новоселья». 28 августа 1835 г. Пушкин обращается в Главное управление цензуры с жалобой: Дондуков «изустно объявил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений, как доселе они печатались, т. е. с надписью чиновника собственной его величества канцелярии, <…> … таким образом я лишен права печатать свои сочинения, дозволенные самим государем императором» (X, 644-645). Ответа на письмо не последовало. Пушкин решил пожаловаться Бенкендорфу (черновик письма не ранее 23 октября 1835 г.). «… комитет не удостоил просьбу мою ответом. <…> ни один из русских писателей не притеснен более моего. Сочинения мои, одобренные государем, остановлены при их появлении – печатаются с своевольными поправками цензора, жалобы мои оставлены без внимания» (X, 554).

Примерно в то же время написана эпиграмма на председателя Петербургского цензурного комитета, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, с марта 1835 г. вице-президента Академии Наук М. А. Дондукова-Корсакова. Можно не сомневаться, что

---

[1] Впрочем, если верить Н. Гречу, Уваров еще в 1830-м г. оскорбительно отзывался о предке поэта, что послужило основой фельетона Булгарина («куплен за бутылку рома»).

[2] Никитенко А.В. Дневник в трех томах. Том 1 (1826-1857). Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1955. с. 140.

[3] Альманах «Новоселье», СПб., ч. II, апрель 1834 г. С.49-80.

[4] Поэмы и повести Александра Пушкина. Часть вторая. СПб.: Печатано в военной типографии. 1835. С.183-221.

затрагивает она и С.С. Уварова, которого связывали с Дондуковым не только деловые и дружеские отношения, но и «известный порок»:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что ж…па есть
(вариант: Потому что есть чем сесть) [1]

Эпиграмма, естественно, не предназначалась для печати, но была довольно широко известна по спискам[2]. Уваров и Дондуков не могли о ней не знать. К этому прибавляется стихотворение «На выздоровление Лукулла (Подражание латинскому)». Взятое как будто из античности, оно имело явно современный смысл, было сатирой на Уварова. Под античным вельможей Лукуллом подразумевался владелец огромного богатства граф Д.Н. Шереметев. Уваров – его наследник, муж двоюродной сестры Шереметева. Во время болезни последнего Уваров поспешил принять меры к охране его имущества, надеясь вскоре завладеть им. Но Шереметев, к разочарованию и огорчению Уварова, выздоровел. Всё это было хорошо известно. Смысл стихотворения для многих был достаточно ясен. Из 6 строф стихотворения о наследнике идет речь в двух (3-й и 4-й), но их было вполне достаточно, чтобы сделать Уварова смертельным врагом Пушкина, а они уже и ранее питали друг к другу отнюдь не дружеские чувства:

А между тем наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.

Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду,
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»[3] (III, 348-349, 525)

Скандал усугублялся тем, что Пушкин опубликовал это стихотворение совершенно сознательно в журнале «Московский наблюдатель»[4], в состав редакции которого входили М.П. Погодин и С.П. Шевырев. Они к этому времени были горячими поклонниками С.С.

---

[1] См.: Ильинский Л. К. Из мелочей пушкинского комментария: Эпиграмма «В Академии наук…» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования / Пушкинская комис. при Отд-нии гуманит. наук АН СССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. Вып. 38/39. С. 205-212.

[2] Кукольник Н. Анекдоты // Курганов Е. Анекдот как жанр. М.: Академический проект, 1997. С.150.

[3] Сравни в Дневнике А.С. Пушкина: «Он крал казенные дрова» (VIII, 63).

[4] Московский наблюдатель, 1835, ч.IV. Сентябрь. Кн.II. С. 191-193.

Уварова, его теории «официальной народности». Позднее их назвали «холопами знаменитого села Поречья» [1] (имения Уварова). Они не догадывались об истинном смысле стихотворения и приняли его за подлинное подражание латинскому. Появление сатиры на Уварова в этом журнале было особенно пикантно. Об этом много толковали. Так, А.В. Никитенко записал 20 января 1836 года: «Весь город занят "Выздоровлением Лукулла". Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, которым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор»[2].

Пушкин вынужден оправдываться. Сохранился черновик его письма конца января-начала февраля 1836 г. управляющему III Отделением А.Н. Мордвинову. Пушкин отрицает, что его стихотворение «На выздоровление Лукулла» сатира на Уварова. По его словам, невозможно написать сатирическую оду, чтобы злоязычие не нашло в ней намека. Как пример, Пушкин приводит «Вельможу» Державина: «Эти стихи применяли к Потемкину и к другим, между тем все эти выражения были общими местами, которые повторялись тысячу раз». О том, что он никого не назвал, никому не намекал, что «ода направлена против кого бы то ни было» (X, 561, 870, 871). Некоторая правота в оправданиях Пушкина была. На свой счет оду мог принять не только Уваров. Именно так, как было передано Пушкину, произошло с князем Н. Г. Репниным, и Пушкину пришлось с ним объясняться (X, 563, 564). Уваров же отлично понимал, кому адресована ода, да и не он один понимал. Скандал получился громким. Пушкин, стараясь погасить его, уговаривал профессора А. Жобара[3] не печатать за границей перевод оды со своими пояснениями: «Будьте настолько добры пожертвовать удовольствием гласности ради мысли оказать услугу собрату» (X, 569, 873).

Понятно, что намереваясь заняться издательской деятельностью в 1835 году, Пушкин к Уварову не обращается. Более того, он сознательно стремится обойтись без его вмешательства. Весной 1835 г. он отправляет Бенкендорфу письмо, в котором напоминает, что царь разрешил ему в 1832 г. издавать политическую и литературную газету. Здесь же он разъясняет свои отношения с Уваровым и Дондуковым: «Прошу извинения, но я обязан сказать Вам всё. Я имел несчастье навлечь на себя неприязнь г.министра народного просвещения, так же как князя Дондукова, урожденного Корсакова. Оба уже дали мне ее почувствовать довольно неприятным образом. Вступая на поприще, где я буду вполне от них зависеть, я пропаду без вашего непосредственного покровительства. Поэтому осмеливаюсь умолять вас назначить моей газете цензора из вашей канцелярии» (X, 534, 863). Не позднее 11 октября он пишет П.А. Плетневу об альманахе. Предполагает поместить в нем «Путешествие в Арзрум», «Коляску» Гоголя («Спасибо, великое спасибо Гоголю за его "Коляску", в ней альманах далеко может уехать»). Предлагает назвать альманах «Арион» или «Орион»: «я люблю имена, не имеющие смысла; шуточкам привязаться не к чему» (X, 552)[4].

К концу 1835 г. прояснился для Пушкина вопрос о «Современнике». 31 декабря 1835 г. Пушкин просит Бенкендорфа передать на рассмотрение царя, как важный документ эпохи Петра, «записки бригадира Моро де Бразе, о походе 1711 года, с моими примечаниями и предисловием. Эти записки любопытны и дельны»[5]. Здесь же речь идет и о том, что поэт хотел бы издать в следующем году «четыре тома статей чисто литературных (как-то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также

---

[1] См. письмо В. Г. Белинского Н. В. Гоголю от 20 апреля 1842 г.

[2] Никитенко, с. 180.

[3] Жобар Альфонс-Жан-Батист (1793-после 1845) – профессор древней словесности. В 1836 году из-за столкновений с С. С. Уваровым был выслан из России.

[4] Предназначавшиеся для альманаха произведения будут напечатаны в «Современнике».

[5] «Записки бригадира Моро де Бразе» напечатаны после смерти Пушкина, в 6 томе «Современника».

критических разборов русской и иностранной словесности, наподобие английских трехмесячных Reviews. Отказавшись от участия во всех наших журналах, я лишился и своих доходов. Издание таковой Reviews доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды, мною начатые» (X, 558). По представлению А.Х. Бенкендорфа «Современник», как нечто среднее между журналом и альманахом (4 раза в год), утвержден царем помимо С.С. Уварова, и 11 апреля 1836 г. выходит первый его номер. Можно предполагать, что Бенкендорф, хотя Пушкина не любил, в данном случае испытал удовлетворение: приятно было «утереть нос» Уварову, в некотором роде сопернику, новому временщику.

Принимаясь за издательскую деятельность, Пушкин особенно радужных надежд по поводу ее не питал. 6 мая 1836 г. в письме жене из Москвы он писал: «Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 000 доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию – а ведь это всё равно, что золотарство <…> очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди что… Чёрт их побери! У меня кровь в желчь превращается» (X, 578). И о том же в письме жене от 18 мая: «… у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры и мне говорили: vous avez trompé[1] и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать» (X, 583).

Если издание собственных поэм, повестей и стихотворений было проблемным, то при издании журнала Пушкин столкнулся с еще более серьезными трудностями. «Капитанская дочка», довольно быстро и легко прошла все инстанции и, отданная на рассмотрение в сентябре, была напечатана уже в 4 томе «Современника», но с публицистикой дело обстояло иначе. По распоряжению Уварова в августе 1836 г. запрещена статья Пушкина «Александр Радищев», предназначенная для 3 тома журнала. Не напечатана и его статья «Путешествие из Москвы в Петербург». Пушкину приходится отвечать не только за себя, но и за других авторов своего журнала. 20 апреля 1835 г. Пушкин пишет П.А. Катенину по поводу его сонета «Кавказские горы»: «Виноват я перед тобою, что так долго не отвечал на твое письмо. Дело в том, что нечего мне было тебе хорошего отвечать. Твой сонет чрезвычайно хорош, но я не мог его напечатать. Ныне цензура стала так же своенравна и бестолкова, как во времена блаженного Красовского и Бирукова: пропускает такие вещи, за которые ей поделом голову моют, а потом с испугу уже ничего не пропускает. Довольно предпоследнего стиха ("творенье Божье ты или чёртова проказа?". – ПР) , чтобы возмутить весь цензурный комитет против всего сонета» (X, 527**).**

В середине марта 1836 г. Пушкин сообщает П.А. Вяземскому о цензурных вырезках из заграничных писем А.И. Тургенева: «бедный Тургенев!…все политические комеражи его остановлены. Даже имя Фиески и всех министров вымараны; остаются одни православные буквы наших русских католичек да дипломаток. Однако я хочу обратиться к Бенкендорфу – не заступится ли он?» (X, 567-568). О Тургеневе, его «Письмах из Парижа»[2], публикацию которых Пушкин пытается отстоять, идет речь и в письмах М. А. Дондукову-Корсакову (18 марта) и цензору А. Л. Крылову (20-22 марта 1836 г.) (X, 568-569). «7 апреля Дондуков-Корсаков объявил, что министр (Уваров. – ПР) словесно разрешил "Хронику русского", за исключением отмеченных карандашом мест»[3].

Дондуков-Корсаков, вослед Бенкендорфу, стремится взять Пушкина под свой непосредственный контроль, явно недоброжелательный. Он предлагает, чтобы в затруднительных случаях поэт обращался лично к нему. Свой ответ Дондукову (от 6 апреля 1836 г.) Пушкин начинает с комплиментов, пишет о благосклонном снисхождении,

---

[1] Вы должны (фр.)

[2] Напечатаны в 1-м томе «Современника» под названием «Париж (Хроника русского)».

[3] Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М.: «Книга», 1986. С. 286.

о покровительстве Дондукова (эти уверения можно счесть за лесть, а можно и за насмешку). Но вежливо и решительно отклоняет предложение Дондукова: «Чувствуя в полной мере цену покровительства, Вами мне оказанного, осмеливаюсь однако ж заметить, во-первых, что мне совестно и неприлично поминутно беспокоить Ваше сиятельство ничтожными запросами, между тем как я желал бы пользоваться правом, Вами мне данным, только в случаях истинно затруднительных и в самом деле требующих разрешения высшего начальства; во-вторых, что таковая двойная цензура отымает у меня чрезвычайно много времени, так что мой журнал не может выходить в положенный срок». Поэтому он просит разрешения «выбрать себе еще одного цензора; дабы таким образом вдвое ускорить рассматривание моего журнала, который без того остановится и упадет» (X, 572). Просьба была удовлетворена, Помимо А.Л. Крылова, цензором назначен П. И. Гаевский.

Помимо общей цензуры, статьи «Современника» нередко передавали в цензуру военную, духовную, министерства иностранных дел, министерства двора. Из письма Дондукову-Корсакову от второй половины апреля 1836 г. (X, 575) видно, что военная цензура не пропустила статью Д.В. Давыдова «Занятие Дрездена 1813 года 10 марта», которая была отправлена в Военно-цензурный комитет еще в начале марта. В августе 1836 г. в письме Давыдову (черновое) Пушкин писал о другой его статье: «Ты думал, что твоя статья о партизанской войне[1] пройдет сквозь цензуру цела и невредима. Ты ошибся: она не избежала красных чернил. Право, кажется, военные цензоры марают для того, чтоб доказать, что они читают. Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою наплачешься; каково же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царствования покойного императора, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову. Цензура дело земское; от нее отделили опричнину – а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением» (X, 594,). 18 июня 1836 г. Пушкин пишет А.А. Краевскому о перестановке статей в «Современнике», т.к. некоторые из них «еще не переписаны и в тисках у Крылова не бывали» (X, 589). О цензуре содержатся упоминания и в других письмах Пушкина за 1836 г. (первая половина августа цензору А.Л. Крылову, июль-август Краевскому и др.).

Но все же «Современник» приносит Пушкину большое удовлетворение. Он всё более увлекается делами журнала. 27 мая – П.В. Нащокину: «Второй № "Современника" очень хорош <…> Я сам начинаю его любить и, вероятно, займусь им деятельно» (X, 584). Своё обещание Пушкин выполняет. 3-й том «Современника» – блестящий. В нем отчетливо ощущается направляющая рука Пушкина[2].

В 1836 г. написаны стихотворения, которые по разным причинам не напечатаны при жизни Пушкина. Но если бы он подали их в цензуру, они вряд ли бы увидели свет. Одно из них, по мнению М.К. Лемке[3], – злая насмешка над Бенкендорфом. В конце мая 1836 г. на обозрение была выставлена картина Брюлова «Распятие». Бенкендорф «для порядка» приказал приставить к ней двух часовых. 1 июня 1836 г. Пушкин пишет стихотворение

---

[1] Статья Д. Давыдова «О партизанской войне» была опубликована в III томе «Современника».

[2] О журнале «Современник» см.: Максимов Д. Е. «Современник» Пушкина (1836-1837гг.) //Евгеньев-Максимов В.Е. «Современник» в 40-50 гг. От Белинского до Чернышевского. Л., 1934 г. ; Эткинд Е. Незамеченная книга Пушкина: Перелистывая Современник — сто пятьдесят лет спустя. Revue des études slaves Vol. 59, No. 1/2, 1987г. Alexandre Puskin: 1799-1837, pp. 197-212. Published By: Institut d'études slaves. ; Рейфман П. С. Две программы пушкинского «Современника» // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. II (Новая серия). Тарту, 1996. С. 130–155.

[3] Лемке, «Николаевские жандармы…», с.521-522.

«Мирская власть» («Когда великое свершалось торжество…»)[1]. Оно содержит строки, которые цензура ни за что не разрешила бы:

…….. .
. ..…….
Но у подножия теперь креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража?
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей?
Иль мните важности придать царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, терниеm венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?
(Ш, 366)

Другое - «Д. В. Давыдову (При посылке Истории пугачевского бунта)»:

……..
……..
Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден – плут, казак прямой;
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой. (III, 364)

Вряд ли цензура пропустила бы и стихотворение «Из Пиндемонти» со словами: «Зависеть от царя, зависеть от народа – не всё ли нам равно? Бог с ними…» (III, 369).

***

Мы начали главу о Пушкине с упоминания об исследователях, которые ныне стремятся противопоставить его в тридцатые годы Западу, сблизить поэта со славянофилами. Наибольшая близость Пушкина со славянофилами относится к 1832 г., когда начал выходить журнал «Европеец», сразу же запрещенный. В какой-то степени дружеские и деловые связи с ними сохраняются и в более позднее время, но сам Пушкин никогда не был славянофилом. В статьях Пушкина мы видим отношение его к Западу, к Европе, в том числе к европейской (французской) литературе. К середине тридцатых годов поэт относится к последней весьма отрицательно. Он не принимает французского «неистового романтизма», осуждает Оноре де Бальзака, которого на раннем этапе его творчества вполне можно было воспринимать в духе такого романтизма. По мнению Пушкина, «Всем известно, что французы народ самый антипоэтический. Лучшие писатели их <…> доказали, сколь чувство изящного было для них чуждо и непонятно»[2] (VII, 264). Статья «Последний из свойственников Иоанны д' Арк» (1837 г.?), заканчивается словами о французах: «Жалкий век! Жалкий народ» (VII, 512). В III номере «Современника» опубликована статья «Вольтер» (1836 г.?), где, в частности, речь идет о столкновении Вольтера с Фридрихом II: «Вся эта жалкая история мало приносит чести философии.

[1] В Примечаниях ПСС в 10-ти тт. указаны другая причина и дата написания стихотворения (III, 527).
[2] «Начало статьи о В. Гюго», 1832 г.

Вольтер, во всё течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. <…> Фридерик негодует и грозит, Вольтер плачет и умоляет». Но гениальность Фернейского мудреца никто и ничто отменить не может. «Что из этого можно заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества» (VII, 418-419).

В том же III номере опубликована и статья «Джон Теннер» (1836 г.), постоянно цитируемая ныне, как свидетельство отношения поэта к Северной Америке: «несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских <…> Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. <…> такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами» (VII, 435). «Глубокие умы», наблюдения которых поколебали положительное представление об Америке – это европейские исследователи, в частности, француз Токвиль, с его книгой «О демократии в Америке», которую Пушкин использует в статье «Джон Теннер». Пушкин прекрасно знает, что книга в целом дает весьма сочувственную картину американской демократии, хотя и показывает её темные стороны. И Пушкин, видимо, разделяет оценку Токвиля, хотя и останавливается в статье лишь на темной стороне. О этом в советском литературоведении было принято умалчивать[1].

Статья Пушкина «О Мильтоне и шатобриановом переводе "Потерянного рая"» (1836 г.). Вновь об ограниченности французов, о непонимании ими литературы соседей: «Уверенные в своем превосходстве над всем человечеством, они ценили славных писателей иностранных относительно меры, как отдалились они от французских привычек и правил, установленных французскими критиками». Французы, пишет Пушкин, считали правомерным исключать из книг иностранцев «места, которые могли бы оскорбить образованный вкус французского читателя. <…> переправляя на свой лад "Гамлета", "Ромео" и "Лира"». Резко высказывается Пушкин о французских переводчиках Мильтона, об его облике, созданном писателями Франции Делилем, Альфредом де Виньи, Виктором Гюго. Подробный разбор изображений Мильтона в «Кромвеле» Гюго и «Сен-Маре» Виньи с «нелепыми вымыслами». Таким переводчикам Пушкин противопоставляет Шатобриана, которого он называет «первым из современных французских писателей, учителем всего пишущего поколения»» (VII, 487-488, 497).

Статья Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (1836 г.). Пушкин подробно цитирует Лобанова, выдвигающего обвинения в адрес современной русской литературы: «Беспристрастные наблюдатели, – говорит он, – носящие в сердцах своих любовь ко всему, что клонится к благу отечества, преходя (так!) в памяти своей всё, в последние времена ими читанное, не без содрогания могут сказать: есть в нашей новейшей словесности некоторый отголосок безнравия и нелепостей, порожденных иностранными писателями». Пушкин продолжает цитировать Лобанова. С трибуны Императорской Российской академии Лобанов восклицал: «Ужели жизнь и кровавые дела разбойников, палачей и им подобных, наводняющих ныне словесность <…> представляются в образец для подражания? <…> Ужели истощилось необъятное поприще благородного, назидательного, доброго и возвышенного, что обратились к нелепому, *отвратному* (?), омерзительному и даже ненавистному?». (Курсив и вопросительный знак в цитируемом тексте Лобанова. – ПР). По словам Пушкина, подобные тенденции в русской литературе Лобанов связывает с воздействием на нее литературы французской, которая формировалась под влиянием революционных событий: «Для Франции, – пишет г. Лобанов, – для народов, отуманенных гибельною для

---

[1] См.: Вольперт Л. И. Пушкин и европейское мышление (Книга А. Токвиля «О демократии в Америке»)// Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. IV. Новая серия. Тарту, 2001.

человечества новейшею философиею, огрубелых в кровавых явлениях революций и упавших в омут душевного и умственного разврата, самые отвратительные зрелища <…>, не кажутся им таковыми; ибо они давно ознакомились и, так сказать, срослись с ними в ужасах революций». Как пример подобных писателей Лобанов, следуя мнению эдимбургских (так!) журналистов, называет имена Эжена Сю и Жюль Жанена, а драма В. Гюго «Лукреция Борджиа» охарактеризована как «гнуснейшая из драм, омерзительнейший хаос ненавистного бесстыдства и кровосмешения» (VII, 400-401). Пушкин отнюдь не является почитателем названных авторов, включая Гюго, хотя полагает, что тот – «поэт и человек с истинным дарованием» (VII, 265). Не является Пушкин и сторонником ужасов революций. Но он резко осуждает нападки Лобанова и на французский народ, и на французскую литературу: «Спрашиваю; можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему?». И называет совсем иные имена, чем Лобанов: Расина, Фенелона, Паскаля, Монтескье, Шатобриана, Ламартина, Тьери, Гизо и других, составляющих славу Франции. Пушкин утверждает, что французский народ, «который оказывает столь сильное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия, – ужели весь сей народ должен ответствовать за произведения нескольких писателей, большею частию молодых людей, употребляющих во зло свои таланты…?». Пушкин не одобряет «употребляющих во зло свои таланты», но резко протестует против их отвержения: «Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких предметах, а не о других. <…> закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем <…>. Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть каждого». Высказывая эти мысли, Пушкин, по сути, выходит за рамки обвинений Лобановым французской литературы. Здесь уже затрагивается вопрос и о русской литературе, и о русской цензуре, и о праве писателя на независимое мнение.

Пушкин считает, что современная французская поэзия на русскую влияет слабо, что отечественные романы, имевшие наибольший успех у читателей, «принадлежат к роду нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер Скотт служили им образцами, а не Бальзак и не Жюль Жанен. Поэзия осталась чужда влиянию французскому». Она ближе поэзии германской «и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики». Пушкин останавливается на нападках Лобанова на современную русскую словесность. Он цитирует высказывания Лобанова, который видит «сбивчивость, непроницаемую тьму и хаос несвязных мыслей» в теории, «в приговорах литературных – совершенную безотчетность, бессовестность, наглость и даже буйство. Приличие, уважение, здравый ум отвергнуты, забыты, уничтожены». Литературная критика «ныне обратилась в площадное гаерство, в литературное пиратство, в способ добывать себе поживу из кармана слабоумия дерзкими и буйными выходками, нередко даже против мужей государственных, знаменитых и гражданскими и литературными заслугами. Ни сан, ни ум, ни талант, ни лета, ничто не уважается». (Не исключено, что Лобанов, перечисляя писателей, преданных глумлению, имеет в виду и оценки В.Г. Белинского, высказанные, в частности, в «Литературных мечтаниях» – ПР).

Лобанов приходит к выводу, что огромный труд искоренения всего перечисленного им зла – дело цензуры. Но ей одной не справиться. Поэтому Лобанов призывает всех добросовестных писателей, просвещенных жителей России, а прежде всего Академию, учрежденную *«для наблюдения нравственности, целомудрия и чистоты языка,* неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло, где бы оно ни встретилось на поприще словесности» (Курсив текста. – ПР). Возражая Лобанову, Пушкин утверждает, что в России нет множества безнравственных книг, писателей, ухищряющихся ниспровергнуть законы и что нельзя «укорять у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении»: «Мы знаем противное. Вопреки мнению г.Лобанова, ценсура (так!) не

должна *проникать все ухищрения* пишущих». Далее Пушкин цитирует цензурный устав (параграф 6), где речь идет о том, что цензура должна обращать внимание на видимую цель и намерение автора, явный смысл речи, «*не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону*». (Курсив текста. – ПР). Этот параграф, по словам Пушкина, – «основное правило нашей ценсуры». Без него «не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово может быть перетолковано в худую сторону». Пушкин прекрасно знает, что этот параграф далеко не всегда соблюдается (об этом писал и А.В. Никитенко в своем Дневнике), но он умело использует его, возражая Лобанову, даёт свое толкование обязанностей цензуры: «Ценсура есть установление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного, а не докучливая нянька, следующая по пятам шалливых (так!) ребят» (VII, 402-403, 405-406, 408-410).

Обращу внимание на некоторые детали статьи о Лобанове. Общий смысл её и позиция Пушкина понятны. Но для меня важны два момента: Пушкин с сочувствием относится к сильному религиозному стремлению, происходящему во Франции (а ведь оно католическое). Пушкин, отмечая как заслугу отречение французов «от жалких скептических умствований минувшего столетия», осуждая многое в современной французской литературе, не изменяет своего положительного отношения к французскому народу, французскому просвещению и словесности, к их прошлому и настоящему. Его ответ на антифранцузские, антизападнические нападки М.Е. Лобанова отчетливо свидетельствует об этом.

Наконец, незаконченная статья Пушкина, дошедшая лишь в отрывках, «О ничтожности литературы русской»[1] (1834 г.). Остановимся на нескольких ее положениях, важных для нас: об особом пути России, принявшей христианство от Византии, об отсутствии на неё влияния великой эпохи Возрождения, рыцарства, крестовых походов. «Долго Россия оставалась чуждою Европе». Край оцепеневшего севера. Бедная словесность. Лишь «Слово о полку Игореве» «возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности». Но «России определено было высокое предназначение… Её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы <…>. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией…». Внутренние междоусобицы. «Но и в эпоху бурь и переломов цари и бояре согласны были в одном: в необходимости сблизить Россию с Европою». А затем в статье идет речь о французской литературе, об её влиянии на Россию: «В начале 18-го столетия французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние». О господстве вначале в ней жалкой ничтожности, недостатке истинной критики, шаткости мнений, общего падения вкусов. Но «вдруг явилась толпа истинно великих писателей»: Корнель, Буало, Расин, Мольер, Лафонтен. О роковом предназначении XVIII века. Великан этой эпохи – Вольтер. Философия века, направленная против господствующей религии, «вечного источника поэзии у всех народов». Любимое орудие этой философии – «ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная». «Влияние Вольтера было неимоверно. <…> Все возвышенные умы следуют за Вольтером». Руссо, Дидро, Юм, Гиббон. «Бомарше влечет на сцену, раздевает донага и терзает всё, что еще почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет. Старое общество созрело для великого разрушения». Вся Европа проявляет подобострастное внимание к французским писателям (VII, 306- 308, 310, 312- 313).

В приведенных отрывках много интересного и значимого, перекликающегося с письмом Пушкина П.Я. Чаадаеву: и характеристика прошлого России, православия,

---

[1]Л. И. Вольперт считает, что статья «О ничтожности литературы русской» – наметки Пушкина к написанию историю французской литературы.

мысли о том, что Россия долго оставалась Европе чужой, и размышления о предназначении России, об её всегдашнем понимании необходимости сблизиться с Европой. И оценка воздействия французской литературы на другие страны и Россию, о созревании общества для «великого разрушения» и роли литературы в этом созревании. Можно говорить о комплексе идей, нашедших отражение в письмах Пушкина к П.Я. Чаадаеву.

***

Прежде чем говорить об отношении Пушкина к «Философическому письму» П.Я. Чаадаева, вызвавшему скандал, запрет «Телескопа», объявление автора сумасшедшим (тоже своеобразный вид карательной цензуры), следует остановиться на их отношениях в целом. В молодости Пушкин и Чаадаев – друзья, единомышленники, сторонники свободы. Пушкин посвятил Чаадаеву несколько стихотворений, в том числе знаменитое послание «Любви, надежды, тихой славы…». К 30-м годам они менее близки, но иногда встречаются. 2 января 1831 г. Пушкин посылает Чаадаеву «Бориса Годунова», в конце декабря поступившего в продажу, с короткой надписью по-французски и с обращением «друг мой». Поэт просит Чаадаева высказать свое мнение о «Годунове» (X, 328, 833). Оба изменились. Чаадаев стал философом, религиозным мыслителем, перешел в католичество. Его раздумья о России, ее истории, об её месте среди других европейских народов отразились в «Философических письмах». По крайней мере с одним из них Пушкин познакомился уже в 1831 году. Он взял его, уезжая в мае из Москвы, чтобы напечатать в Петербурге с помощью товарища министра народного просвещения Д.Н. Блудова и издателя Ф.М. Беллизара[1]. 17 июня Чаадаев спрашивает о судьбе своей рукописи, а завершает письмо так: «Пишите мне по-русски; вам не следует говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания. Жду от вас милого и длинного письма; говорите мне о всем, что вам вздумается: всё, что идёт от вас, будет мне интересно»[2]. В ответном письме, сравнительно подробном, затрагивающем важные философские проблемы, Пушкин объясняет, почему он пишет по-французски: чтобы говорить с Чаадаевым «на языке Европы, он мне привычнее нашего». Думается, что выбор языка определяется не только важностью темы, но и подсознательным стремлением отграничить себя от Чаадаева (во французском языке нет разницы между «ты» и «вы»). Теперь нет между ними былой близости. Поэтому по-французски писать легче.

Письмо Пушкин рассматривает как продолжение бесед с Чаадаевым, начатых в Царском Селе во времена лицейской юности, Видно, что Пушкин рукопись прочитал, перечитал и собирается, вероятно, еще раз перечитать. Он обращает внимание «на отсутствие плана и системы», хотя форма письма, по его мнению, «дает право на такую небрежность и непринужденность». Поэту кажется, что начало «слишком связано с предшествовавшими беседами и мыслями, ранее развитыми, очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен. Вследствие этого мало понятны первые страницы, и я думаю, что вы бы хорошо сделали, заменив их простым вступлением или же сделав из них извлечение». Подробно высказав свои соображения о форме письма, его построении, дав конкретные советы, Пушкин переходит к содержанию. «Всё, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, об идее истинного Бога, о древнем искусстве, о протестантизме, изумительно по силе, истинности или красноречию. Всё, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно». На этом безусловные похвалы кончаются. Начинается если не критика, то полемика. Но пока речь идет не о России, а о всемирной истории: «Ваше понимание истории для меня совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами: например, для меня непостижимы ваша неприязнь к Марку Аврелию и пристрастие к Давиду (псалмами которого, если только действительно они принадлежат ему, я восхищаюсь). Не понимаю, почему яркое и

---

[1] См.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М.: «Книга», 1986. С. 172.

[2] Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.: «Современник», 1989. С. 219.

наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию, великий исторический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, не встречается также и в Библии? Вы видите единство христианства в католицизме, т. е. в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской» (X, 363-364, 841-842). Думается, неприятие Пушкиным исторической концепции Чаадаева связано с категоричностью высказанных им симпатий и антипатий, с католической ортодоксальностью друга молодости. Пушкин гораздо терпимее, сдержаннее в оценках. 21 июля 1831 г. Пушкин пишет П.В. Нащокину: «Не понимаю, за что Чаадаев с братией нападает на реформацию, (далее. франц.) то есть на известное проявление христианского духа. Насколько христианство потеряло при этом в отношении своего единства, настолько же оно выиграло в отношении своей народности (далее снова русский текст). Греческая церковь – дело другое: она остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа» (X, 374, 843). Таким образом, Пушкин защищает реформацию, но не православие в греческом варианте.

Затем Чаадаев посылает Пушкину оттиск знаменитого первого «Философического письма», напечатанного в «Телескопе»[1]. Ответ Пушкина 19 октября 1836 г. – последнее его письмо к Чаадаеву, написанное за три месяца до смерти[2]. Тоже по-французски. Крайне важная полемика с Чаадаевым и о православии, и о русской истории, и о современной России. Пушкин благодарит за присылку брошюры, хвалит перевод Н. Х. Кетчера, сохранивший энергию и непринужденность подлинника. Пишет, что с удовольствием перечел брошюру (следовательно, читал ранее), «хотя очень удивился, что она переведена и напечатана». То есть удивляется тому, что пропущена цензурой. «Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами» (имеется в виду предыдущее письмо Пушкина Чаадаеву. – ПР). «Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольские нашествия. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена». Для этой цели, по словам Пушкина, нужно было вести совершенно особое существование, которое, «оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех». Пушкин полемизирует с Чаадаевым по ряду ключевых вопросов: по поводу того, что православное христианство пришло из презираемой всеми Византии; по поводу русского духовенства, прежнего, «достойного уважения», никогда не пятнавшего себя «низостями папизма», современного, которое «отстало», «не принадлежит к хорошему обществу», но совсем не так плохо. «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться». Пушкин перечисляет события русской истории, от войн Олега и Святослава, удельных усобиц, татарского нашествия («печальное и великое зрелище»); от пробуждения России, развития ее могущества, движения к единству. «А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? *Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?* (курсив мой. – ПР). Хотя лично я сердечно

---

[1] «Философические письма к г-же ***. Письмо 1». «Телескоп», 1836, №15.

[2] Письмо не было отослано адресату. В июне 1839 г. П.Я. Чаадаев просит В.А. Жуковского «прислать хотя список с письма Пушкина»: «Всё, что относится до дружбы нашей с Пушкиным, для меня драгоценно <…> это последнее его ко мне слово». - Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.: «Современник», 1989. С. 271-272.

привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя <…> но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Но вспомним и приведённые выше слова из письма жене: «родиться в России с душой и талантом». От них Пушкин тоже не отказывается. Он солидарен с Чаадаевым в критике современности: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко» (X, 596-598, 874-876).

В конце письма выражена тревога за Чаадаева, боязнь возможности расправы над ним: «Но боюсь как бы ваши исторические воззрения вам не повредили…» (многоточие текста. – ПР). Выражается надежда, что впечатление от письма раздувать не будут. Эти слова перекликаются с началом письма, с удивлением, что брошюра Чаадаева переведена и напечатана. И обращение: «мой друг», которого нет в начале, но которое появляется в конце.

Письмо Пушкина – полемика с крайностями Чаадаева. Отсюда и некоторое смещение акцентов. Во многом рассуждения поэта перекликаются со славянофильскими. Но он чужд духу *партии*, характерному для славянофилов. Нет их односторонности, исключительной приверженности к православной вере, истории России. Нет противопоставления Европе, осуждения её пути, убеждения, что «у нас лучше». Уверенность, что Россия не вне Европы, а, при всей своей самобытности, неотъемлемая часть её истории, её религии, общими для всего христианского мира. Как бы завещание Пушкина. Итог всех его раздумий на эту тему.

Знаменательно, что у Пушкина нет упоминаний о теории «официальной народности», как раз в это время сформулированной Уваровым и ставшей официальной идеологией.

***

27 января 1837 года в пятом часу пополудни состоялась дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского полка Жоржем Дантесом. Узнав о тяжелом ранении Пушкина, Император в последний раз продемонстрировал царскую милость. Он отправил к Пушкину личного лейб-медика, несколько раз справлялся об его здоровье, передал записку умирающему, в которой – обещание позаботиться о жене и детях его.

Отпевали Пушкина в церкви Придворного Конюшенного ведомства 1 февраля 1837 года. А.В. Никитенко записал в своем Дневнике о «народных похоронах» Пушкина, об огромном количество людей на Конюшенной площади перед церковью Спаса Нерукотворного Образа и в самой церкви. «Весь дипломатический корпус присутствовал <…>. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. <…> Попечитель мне сказал, что студентам лучше не быть на похоронах: они могли бы собраться в корпорации, нести гроб Пушкина – могли бы "пересолить", как он выразился». В тот же день новая запись – о попытках замолчать это событие, пресечь всяческие попытки выразить свои чувства: «Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в "Северной пчеле": "Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности" (№ 24). <…> Я получил приказание вымарать совсем несколько таких строк, назначавшихся для "Библиотеки для чтения"»[1]. Днем ранее он отметил в своем Дневнике, что получил «предписание председателя цензурного комитета не позволять ничего

[1]А. В. Никитенко. Дневник в трех томах. Том 1 (1826–1857). Л., 1955. С. 196–197.

печатать о Пушкине, не представив сначала статьи ему или министру (С.С. Уварову. – ПР)»[1]. Такое же распоряжение 1 февраля 1837 г. министр народного просвещения отправил попечителю Московского учебного округа С. Г. Строганову: «По случаю кончины А.С. Пушкина, без всякого сомнения, будут помещены в московских повременных изданиях статьи о нем. Желательно, чтобы при этом случае <…> соблюдаема была надлежащая умеренность и тон приличия. Я прошу ваше сиятельство <…> приказать цензорам не дозволять печатания ни одной из вышеозначенной статей без вашего предварительного одобрения»[2].

В «Литературных Прибавлениях…» был опубликован короткий некролог в траурной рамке, начинающийся словами «Солнце нашей поэзии закатилось...». Редактору (А.А. Краевскому) досталось и за заметку, и за рамку: « Что это за черная рамка? Что за солнце поэзии… великое поприще… Что он был, полководец, или министр? Писать стишки, какое это поприще?»[3]. 31 января Никитенко записал: «Он (Уваров) очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Он, между прочим, недоволен пышною похвалою, напечатанною в "Литературных Прибавлениях к Русскому инвалиду". Итак, Уваров и мертвому Пушкину не может простить "Выздоровления Лукулла"»[4]. А.В. Никитенко считает, что поведение Уварова продиктовано личной неприязнью. На самом деле, следует говорить о государственной политике. Так, 1 февраля 1837 года А.И. Тургенев писал А.И. Нефедьевой: «еще прежде дуэли, назначена <…> была для бенефиса Каратыгина пиеса из Пушкина: "Скупой рыцарь, сцены из Ченстовой трагикомедии". Каратыгин по случаю отпевания Пушкина отложил бенефис до завтра, но пиесы этой играть не будут! – вероятно, опасаются излишнего энтузиасма…»[5].

Невероятно, но было сделано всё возможное, чтобы нигде не упоминали о смерти Пушкина от раны, полученной на дуэли. В первую очередь здесь следует отметить реакцию властей на стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Пристрастное внимание к каждому печатному слову (по свидетельству Никитенко, даже к слухам) и действию, связанному с именем Пушкина со стороны важных персон государственной власти – и всё это под присмотром всесильного Бенкендорфа и Императора. Николай I умудрился даже заметить и выразить свое недовольство тем, что Пушкин положен был в гроб во фраке (как частное лицо. – ПР), а не в камер-юнкерском мундире. «И всё это делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись – но чего?»[6]. Тем же вопросом задается В.А. Жуковский, в своем письме Бенкендорфу (февраль-март 1837 г.): «и в минуту выноса (гроба с телом Пушкина. – П.Р.), на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться?»[7]. Боялись беспорядков. Опасения усилились, когда стало известно, что утром 31 января Жуковский получил анонимное письмо. «Неужели после сего происшествия может быть терпим у нас не только Дантес, но и презренный Гекерн? Неужели правительство может равнодушно сносить поступок презренного им чужеземца и оставить безнаказанно дерзкого и ничтожного мальчика? <…> Явное покровительство и предпочтение подобным прошлецам-нахалам и иностранцам может для нас быть гибельным» [8]. Через два дня письмо аналогичного содержания доставлено графу А.Ф. Орлову. Но в нем тема всенародного недовольства была усилена и завершалось она просьбой «представить его

---

[1] Никитенко, с. 195.
[2] Вересаев, т.3, с.272.
[3] Цит. по: Тыркова, с. 456.
[4] Никитенко, с.195.
[5] Тургенев А.И. Политическая проза. М.: «Советская Россия», 1989. С. 241.
[6] Никитенко, с. 197.
[7] Жуковский В. А.. Сочинения в трех томах. Т. 3. М.: Художественная литература, 1980. С. 525.
[8] Цит.по: Щёголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М.:«Книга», 1987. С. 194.

величеству о необходимости поступить с желанием общим, выгоды от того произойдут неисчислимые, иначе, граф мы горько поплатимся за оскорбление народное и вскоре»[1]. А.Х. Бенкендорф заявил, что это письмо «доказывает существование и работу общества», и намеревался «по горячим следам найти автора»[2]. Доложили императору, который посчитал это обстоятельство достойным внимания. По убеждению В.А. Жуковского, «все подобные толки суть естественное следствие подобного происшествия <…>. Блюстительная полиция была обязана обратить на них внимание и взять свои меры <…>. Но здесь полиция перешла за границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политическою целию и в заговорщики произвела друзей Пушкина»[3].

Тотчас после известия о дуэли Пушкина, когда на Мойке у дома Волконской «не было ни проходу, ни проезду», всерьез выясняли вопрос: «относились ли эти почести более к Пушкину либералу, нежели к Пушкину поэту? В сем недоуменьи и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное, как бы народное проявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либерализма, высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено»[4].

В ночь с 3 на 4 февраля гроб с телом Пушкина, в сопровождении А.И. Тургенева, дядьки Пушкина Никиты Козлова и жандармского полковника Ракеева, отправили к месту погребения. А.Н. Мордвинов, по распоряжению Николая I, переданному через Бенкендорфа, потребовал от псковского губернатора запретить «всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина»[5].

Царь велел В.А. Жуковскому разобрать бумаги Пушкина, согласился с его предложениями: возвратить без прочтения письма, адресованные Пушкину, их авторам; казенные бумаги – по принадлежности; сжечь всё предосудительное. Вмешался А.Х. Бенкендорф. «В помощь» Жуковскому назначен генерал Л.В. Дубельт. Частные письма, конечно же, следует вернуть авторам, согласился Бенкендорф, но после прочтения (исключение было сделано для писем Натальи Николаевны Пушкиной, «но только с наблюдением о точности ее почерка»). До сожжения бумаги, которые будут сочтены предосудительными, также должны быть доставлены Бенкендорфу для прочтения, «чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы». Единственная уступка, сделанная Бенкендорфом – отмена распоряжения разбирать бумаги в помещении Третьего отделения и позволение сделать это «в покоях» Жуковского[6]. (Письмо гр.А.Х. Бенкендорфа – В.А. Жуковскому. 6 февраля 1837 г.)

На проекте издания сочинений А.С. Пушкина, подготовленном опять же Жуковским, – резолюция императора: «Согласен, но с условием выпустить всё, что не прилично из читанного мной в Борисе Годунове и строжайшего разбора еще неизвестных сочинений»[7]. Состоялось заседание Цензурного комитета. Царь повелел, чтобы сочинения выходили под наблюдением министра просвещения С.С. Уварова. «Последний растолковал это так, что и все доселе уже напечатанные сочинения поэта надо опять строго рассматривать. Из

---

[1] Щёголев, с. 195
[2] Там же, с. 195
[3] Жуковский , т. 3, с. 522-523.
[4] Цит. по: Наумов А. В. Посмертно подсудимый М.: «Российское право», 1992. С.145.
[5] Вересаев, т. 3, с. 285.
[6] Цит. по: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М.: «Книга», 1987. с. 198–199.
[7] Там же, с. 193.

этого следует, что не должно жалеть наших красных чернил»[1]. А.В. Никитенко говорил в комитете целую речь, возражая «против этой меры». Корсаков же « всё ссылался на высочайшее повеление, истолкованное министром. Само собой разумеется, что официальная победа не за мной осталась», Когда один из присутствовавших на заседании «сослался на общественное мнение, которое, конечно, осудит всякое искажение Пушкина», председатель комитета заявил, что «правительство не должно смотреть на общественное мнение, но идти твердо к своей цели»[2] . На это Никитенко возразил: «…не худо бы иногда уважать общественное мнение – хоть изредка. Россия существует не для одного дня, и возбуждая в умах негодование без всякой надобности, мы готовим для нее неутешительную будущность». На этом же заседании в помощь А.В. Никитенко был назначен А.Л. Крылов, «одно имя которого страшно для литературы: он ничего не знает, кроме запрещения». Но уже на следующий день узнали «приятную новость: государь велел напечатать уже изданные сочинения Пушкина без всяких изменений. Это сделано по ходатайству Жуковского». «Как это взбесит кое-кого», – замечает Никитенко[3].

По сути, царь с самого начала не требовал цензурировать одобренных им и уже напечатанных произведений Пушкина. В своем распоряжении он настаивал на внимательном, строжайшем рассмотрении «еще не известных сочинений». С.С. Уваров по-своему истолковал слова царя, но, судя по всему, это не вызвало раздражения Николая. Само назначение Уварова для наблюдения за изданием весьма любопытно, ведь Николай прекрасно знал об отношении его к Пушкину, и мог назначить кого-либо другого, более благожелательного. Вместе с тем, он легко удовлетворил ходатайство Жуковского не подвергать цензуре уже разрешенное ранее.

После смерти поэта Николай выполнил почти все просьбы В.А. Жуковского относительно милостей семье: велел заплатить долги самого Пушкина, очистить от долга имение его отца; назначить «вдове пенсион и дочери по замужество», определить сыновей в пажи и выделить по 1500 р. на воспитание каждого до вступления на службу; выплатить единовременно 10 тысяч рублей и издать сочинения Пушкина «на казенный счет в пользу вдовы и детей». Но, как справедливо заметил П.Е. Щёголев, «самое главное желание Жуковского, характера невещественного, осталось неисполненным. Император не пожелал своим милостям сообщить значение государственного дела и придал им характер личной, частной благотворительности» [4].

По словам А.П. Ермолова, Николай I никогда не ошибался – всегда сажал на высокую должность самого неспособного[5]. Ермолов имел в виду тех бездарностей, которыми заменили на высоких постах в армии боевых генералов Отечественной войны. Но, как это не покажется странным, это можно сказать и в отношении Пушкина. На самом деле, Пушкин ведь был «самый неспособный» из всех, когда-либо оказавшихся в числе придворных. Николай I оказывал Пушкину «благодеяния» (с его точки зрения), не лицемеря при этом, но они оборачивались мукой для поэта. Роль придворного оказалась для него невыносимой, и стала одной из причин, приведших Пушкина к дуэли, к смерти. И потому можно утверждать, что император стал косвенным виновником гибели поэта.

---

[1] Никитенко, с. 198.
[2] Там же, с.199.
[3] Там же, с.199.
[4] Щеголев, с. 186.
[5] Эйдельман Н. Я. Первый декабрист. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 390;
В октябре 1860 г. с П.А. Ермоловым встречался П.А. Вяземский. «Разговор зашел об умении выбирать людей и о том, как редко это умение встречается в правителях.– Вот если я перед кем колена преклоню, – сказал он, – то это пред незабвенным: ведь можно же было когда-нибудь ошибиться, нет, он уж всегда как раз попадал на неспособного человека, когда призывал его на какое бы то ни было место». – Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М.: «Правда», 1988. С. 447.

Возможно, тотчас после смерти Пушкина он и испытал некоторое сожаление, но очень быстро утешился.

4 февраля 1837 года в письме И.Ф. Паскевичу: «Здесь всё тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же писанную, но, слава Богу, умер христианином».

Кн.Паскевич-Эриванский – Императору Николаю I: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созревал; но человек он был дурной».

Император Николай I – кн.Паскевичу-Эриванскому: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю <…> в нем оплакивается будущее, а не прошедшее»[1].

На этой скорбной ноте заканчиваются отношения поэта Пушкина и императора Николая I.

* * *

10 февраля 1925 г., в 88 годовщину смерти Пушкина, в его последней квартире (Мойка, 12) знаменитый литературовед, академик Нестор Котляревский прочитал «странный доклад»: «Чем бы стал Пушкин, если бы не погиб в 1837 году, а продолжал жить хотя бы до конца царствования Николая I и до 1860-х годов?». В докладе говорилось о том, «как тяжело жилось бы Пушкину и какие бы ожидали его душевные драмы». Он стал бы камергером, со звездой Анны 1-й степени, но должен был бы лечь «между молотом все более и более недоверчивой и суровой власти и наковальней созревающего общественного мнения». Он радовался бы реформе 1861 года, «но вскоре разглядел бы на горизонте грозовые тучи». И нелегко перенес бы «отрицание его поэзии молодыми людьми, уверенными в том, что все истины в их кулаке зажаты». Выходило, что все же хорошо для Пушкина всего этого не знать. Академику горячо возражал П. Е. Щёголев: «Пушкин пришел бы к революционно-демократической идеологии в духе Белинского и его последователей»[2]. Рассказывая об этом, Н. Эйдельман своего мнения не высказывает. Но создается впечатление, что он скорее на стороне Котляревского. Очень возможно, что он и прав. Революционным демократом Пушкин вряд ли стал бы. Но здесь возникает вопрос: сколько бы еще успел написать Пушкин, если бы прожил до 1860-х годов? Ведь убит он в тридцать семь лет,

* * *

Я не останавливаюсь на истории открытия первого памятника А.С. Пушкину и выступлениях И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского, юбилеях Пушкина и торжествах, посвященных его памяти. Напомню лишь даты: 1880 год (открытие памятника в Москве); 1887 год (пятидесятилетие со дня смерти); 1899 год (столетие со дня рождения); 1912 год (семидесятипятилетие со дня смерти); 1937 год (сто лет со дня смерти) и 1999 год (двести лет со дня рождения). Каждая из этих дат, отмечавшаяся иногда помпезно, иногда более скромно, оживляла память о поэте. Устраивались юбилейные выставки, читались доклады, издавались сочинения Пушкина; пушкиноведы публиковали новые исследования, нередко весьма ценные. Были и курьезы. К столетию со дня рождения выпущен «Юбилейный ликер А.С. Пушкина», а к двухсотлетию водка «Пушкин». В потоке парадной шумихи появлялись статьи, книги, имеющие весьма косвенное отношение и к Пушкину, и к литературоведческой науке вообще.

Была в юбилеях, как правило, и политическая подоплека. До революции она определялась стремлением доказать, что Пушкин в тридцатые годы отказался от грехов молодости, стал консерватором, идеологом дворянства, православия, религиозным,

---

[1] Вересаев, т.3, с. 289.

[2] Эйдельман, Первый декабрист, с. 393-394.

официальным патриотом, верным другом царя и русской церкви. Во время столетнего юбилея поэта В.Е. Якушкин в Московском обществе любителей российской словесности в своем докладе об общественных взглядах А. С. Пушкина заявил, что Пушкин после разгрома декабристского восстания не изменил своих взглядов. На него тут же дружно набросилась консервативная пресса («Московские ведомости», «Гражданин»), а сам он был, по распоряжению министра внутренних дел, выслан в Ярославль. В брошюре, изданной Группой социал-демократов Ярославля утверждалось, что Пушкин всегда был не другом народа, а другом дворянства, царя, буржуазии, а о народе высказывался с высокомерием потомственного дворянина[1]. Как и в 1837, опасались беспорядков, потому начальство было призвано «не допускать либеральных манифестаций».

В советское время использовали те же утверждения, но строго обратной направленности. Так, Пушкин стал не другом, а врагом царя, атеистом и т.д. Ярчайший пример – «празднества» 1937 года. Разгар сталинского террора. Массовые расстрелы. Многомиллионный ГУЛАГ. И в такой обстановке советское правительство решает провести акцию огромного масштаба, отметив с невиданным размахом столетие со дня смерти А.С. Пушкина. Организовывать подобные помпезные мероприятия советская власть отлично умела. Все было ориентировано на то, чтобы пушкинскими днями продемонстрировать всему миру и советским людям: все в порядке, мы живем свободно и счастливо («а завтра будет веселей»). Пушкин был превращен в символ расцвета советской культуры. Гений Пушкина, всенародность его, «общественно-значимое» творчество, вдохновляет «нас, людей сталинской эпохи», – под таким лозунгом проходили юбилейные торжества. Скорбная дата превратилась в массовый праздник, какого никогда нигде не было, ни в одной стране[2]. В статье «Перед пушкинскими днями», опубликованной в газете «Правда», говорилось: «В стране мощно расцветающей социалистической культуры чествование памяти великого поэта есть дело общественное, дело государственное». И еще три цитаты: «Только Великая Пролетарская Революция, давшая свободу многочисленным народам нашей страны, создала предпосылки для того, чтобы подготовка к столетию со дня гибели гениального поэта превратилась в источник праздника социалистической культуры». «Но только в эпоху диктатуры пролетариата, в нашу эпоху социализма Пушкин смог занять то место, которое по праву должно было принадлежать ему. Буржуазия не могла и не хотела сделать Пушкина и его творчество достоянием всего народа». «Недаром наша любовь к Пушкину так же органична, как наша любовь к лучшим людям современности – нашим вождям»[3]. Вышла книга В. Кирпотина «Наследие Пушкина и коммунизм». Во всех газетах и журналах печаталось необозримое количество статей о Пушкине – «жертве царизма». В тех же изданиях, на других страницах, публиковались сообщения о политических процессах, о «врагах народа» и расстрелах.

Пушкин становится похожим на икону. Еще одним советским мифом. Впрочем, по словам С.В. Денисенко, «Миф о Пушкине годился любой политической группировке», в том числе эмигрантской. Слишком неординарным он был, не умещался в прямолинейные узкие рамки какой-либо заидеологизированной позиции: «одновременно монархист и демократ, атеист и христианин, россиянин и космополит, русский и "потомок негров", развратник и семьянин»[4].

---

[1]Курьезную поддержку получили господа ярославцы в Житомире, где поэту поставили памятник с надписью: «Дворянину Пушкину».

[2] Юбилеи Гете, Шекспира – дело сравнительно небольшого круга интеллигенции, а не народа, государства.

[3] Анекдот того времени: конкурс на лучшее изображение Пушкина; третье место — Сталин читает Пушкина; второе — Сталин и Пушкин сидят рядом на скамейке (как М. Горький со Сталиным); первое место, главный приз — Пушкин читает Сталина.

[4] См.: Денисенко С. В. Пушкин 1937 года. Каким он был? (По материалам советской и русской эмигрантской периодической печати) // Четвертая международная Пушкинская конференция. СПб, 1997. С. 69–72.

В праздновании двухсотлетия со дня рождения Пушкина в 1999 году было тоже много бутафории, шелухи, навязчивой показной шумихи, отсутствия хорошего вкуса. И все же сравниться с Пушкинскими днями 1937 года по уровню фальсификации оно не смогло: было и много хорошего, ценного.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Эпоха цензурного террора.

Фанатик ярый Бутурлин,
Который, не жалея груди,
Беснуясь, повторял одно:
«Закройте университеты,
И будет зло пресечено!..

(Н.А. Некрасов)

Революционные события в Европе в конце сороковых годов. Чрезвычайные меры, предпринятые российским правительством, для защиты от «революционной заразы». Меншиковский комитет. Публикация в «Отечественных записках» повести М.Е. Салтыкова (Щедрина) «Запутанное дело». Ссылка М.Е. Салтыкова. Бутурлинский комитет (Комитет 2-го апреля). Его председатель и члены. Резкое осуждение направления журнала «Отечественные записки». Покаяние А.А. Краевского, его статья «Россия и Западная Европа в настоящую минуту». Запрещение «Иллюстрированного альманаха». «Сандвичевы острова». Проект Д.П. Бутурлина о закрытии университетов. Статья И.И. Давыдова в защиту университетов. Доклад С.С. Уварова Николаю I о двоевластии в деле цензуры. Распоряжение о порядке ввоза и распространения иностранных книг. Работа над проектом нового цензурного устава. Борьба между С.С. Уваровым и Бутурлинским комитетом. Поражение С.С. Уварова и его отставка Министр просвещения П.А. Ширинский-Шихматов. «Карманный словарь» М.В. Петрашевского. «Здоровое» чтение для простого народа. «Свои люди –сочтёмся» А.Н. Островского. П.А. Плетнёв, Н.Г. Устрялов, В.А. Жуковский. Новые гонения на философию. А.В. Никитенко о свирепости цензуры. О цензуре нот. Распродажа томов «Отечественных записок» десятилетней давности. Переиздание сочинений А.Д. Кантемира и И.И.Хемницера. Ссылка И.С. Тургенева за статью о Н.В. Гоголе. Славянофильский «Московский сборник». Министр народного просвещения А.С. Норов. А.В. Никитенко и А.С. Норов. Записка о цензуре.

Последние годы царствования Николая I (1848-1855) называют мрачным семилетием или эпохой цензурного террора. По словам А.И. Герцена, «наша литература от 1848 до 1855, походила на лицо в Моцартовой "Волшебной флейте", которое поет с замком на губах»[1]. Известный исследователь Михаил Константинович Лемке считает указанные годы едва ли не самым мрачным и тяжелым периодом во всей истории русской журналистики, общественной мысли. Наступлению этой полосы российской истории способствовали и внешние, и внутренние события (революционные волнения в Европе, дело петрашевцев). Веских оснований для паники у правительства не было. Никакой революционной ситуацией в России и не пахло. Но всё же в 1840-е годы оппозиционные настроения в обществе усилились, журналистика стала «слишком много себе позволять» и власти всполошились. Даже С.С. Уваров в новой ситуации казался слишком либеральным. Как всегда в такие моменты, нашлись добровольцы, призывающие к усилению репрессивных мер. Ряд доносов в форме «Записок» царю, другим властным структурам. Не обошлось без личных счетов. Граф С. Г. Строганов, отставленный С.С. Уваровым попечитель Московского университета, подал на высочайшее имя «записку об ужасных идеях, будто бы господствующих в нашей литературе – особенно в журналах – благодаря

[1] Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 томах (1954-1966). Т. 12. М.: Издательство Академии наук СССР, 1957. С. 316. Впервые: «Полярная звезда» на 1856 год, издаваемая Искандером. Кн. Вторая. Лондон, Вольная русская книгопечатальня, 1856. С. 254.

слабости министра и его цензуры»[1]. Подобную же «Записку» подал барон М.А. Корф, который, почувствовав слабость позиции Уварова, пожелал занять его место. «Записки» встречены царем с одобрением.

Правительство сочло необходимым еще более ограничить печать, и без того довольно сильно скованную. «Не было никакого повода опасаться волнений или беспорядков. Однако память о катастрофе 1825 г. была еще свежа, а мнения, господствовавшие в некоторых наших литературных кружках, казались органически связанными с крайними учениями французских теоретиков. Поэтому состоялось Высочайшее повеление принять энергичные и решительные меры против наплыва в Россию разрушительных теорий»[2]. Поводы, конечно, имелись. Но русское правительство, как всегда, преувеличивало опасность. И меры против нее приняло с большим перебором. Помимо всех видов цензуры, существовавших ранее, была введена еще одна, неофициальная и негласная, наделенная широчайшими полномочиями и не стесненная в своей деятельности никакими рамками закона. Своего рода «царево око». В конце февраля 1848 г. учрежден временный негласный Комитет для рассмотрения действий цензуры периодических изданий, под председательством морского министра, адмирала кн. А.С. Меншикова. Комитет так и называли – Меншиковский.

Александр Сергеевич Меншиков – правнук знаменитого петровского вельможи А. Д. Меншикова. О нем отзывались, как об умном человеке, при этом беспредельно преданном царю, готовом беспрекословно выполнять его волю. При Александре I прослыл даже вольнодумцем, либералом (он был в числе крупных сановников, знатных лиц, написавших в 1821 г. проект освобождения помещичьих крестьян). Вынужденная отставка Меншикова. При Николае I оказался вновь в фаворе. При этом «из либерала князь сделался ярым сторонником существующих порядков, а свою популярность основал, главным образом, на остроумии, не всегда, впрочем, одинаково метком и остром»[3]. Некоторый оттенок аристократического вольномыслия XVIII века, но и подчеркнутая верность существующему режиму, императору. Иногда возражал царю, но только наедине. Один из современников охарактеризовал его следующим образом: «очень хитрый, вежливый человек и, как говорят, малый не промах»[4].

В комитет входили также Д.П. Бутурлин, М.А. Корф, А.Г. Строганов (брат бывшего попечителя), П.И. Дегай и Л.В. Дубельт. Перед Комитетом поставлена задача – ревизия действий Министерства просвещения, цензуры, содержания периодики, в первую очередь журнальной. Как писал М. Корф в своих мемуарах, «Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей, нельзя было не обратить внимание на нашу журналистику, в особенности же на два журнала: "Отечественные Записки" и "Современник". Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать Бог знает что»[5].

Существенную роль в учреждении комитета сыграл А.Ф. Орлов, который после смерти А.Х. Бенкендорфа в 1844 г. занял его место. Для него, помимо прочего, важно было в такое тревожное время переложить на других хлопотливое дело надзора над печатью (Л.В. Дубельт помог ему понять это). 27 февраля члены Комитета получили официальную бумагу от графа А.Ф. Орлова: «По дошедшим до государя императора из разных источников сведениям о весьма сомнительном направлении наших журналов, Его Императорское Величество на докладе моем по сему предмету, собственноручно написать изволил: «Необходимо составить особый Комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли

---

[1] Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. 1826–1857. Л., 1955. С. 311.

[2] Министерство внутренних дел, 1802–1902. Исторический очерк. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1902. С. 101.

[3] Лемке М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. С.195.

[4] Россия и русский двор в 1839 г. Записки Гагерна. Русская старина, 1891 г. Т. 69, кн.1 (январь). С.11.

[5] Барон Модест Корф. Записки. М.: «Захаров», 2003. С. 428.

действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы? Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства, т. е. министерства народного просвещения, и которые журналы и в чем вышли из своей программы»[1].

Комитет начал работать в помещении Адмиралтейства, куда вызывали редакторов. Всего заседал он около месяца, но сделал довольно много. Все постановления, мнения комитета докладывались непосредственно царю. Когда тот соглашался, А.С. Меншиков сообщал об этом министру просвещения С.С. Уварову как повеление царя, «для немедленного и точного выполнения». Министр уже от своего имени, но точно, оглашал постановления комитета, что скрывало от публики роль и само существование его. Официально о комитете ничего не было известно, хотя слухи о нем ходили. «Цель и значение этого комитета были облечены таинственностью, и оттого он казался еще страшнее. Наконец, постепенно выяснилось, что комитет учрежден для исследования нынешнего направления русской литературы, преимущественно журналов, и для выработки мер обуздания ее на будущее время. <…> Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще более усложняли дело»[2].

8 марта приказано, чтобы все статьи (кроме объявлений, сообщений о зрелищах, подрядах), со следующего же дня подписывались авторами. Такое распоряжение уже было в прошлом, в 1830-е гг., но его отменили, так как выполнять его оказалось крайне неудобно. И вот в конце 1840-х гг. его вновь вводят, и сразу же «стало бить в глаза ужасное однообразие подписей»: во многих изданиях почти все статьи оказались подписаны одними и теми же именами. В «Северной пчеле», например, почти все публикации были подписаны либо Ф. Булгариным, либо Н. Гречем. Через две недели А.С. Меншиков сообщил С.С. Уварову о разрешении государя не печатать под каждой статьей имен авторов, при условии, что они непременно известны редакциям. Издателям же книг или журналов вменялось в обязанность «по первому требованию правительства, объявлять имя и место жительства автора, под опасением, за неисполнение сего, строжайшего взыскания, как ослушания высочайшей воли»[3].

12 марта последовало распоряжение, объявленное Меншиковым: «Его Императорское величество высочайше повелеть соизволил: 1. Начальству цензуры созвать Цензоров, объявить им, что Правительство обратило внимание на предосудительный дух многих статей <…>, и предупредить их, что за всякое дурное направление статей журналов, хотя бы оно выражалось в косвенных намеках, цензура, сии статьи пропустившая, подвергнется строгой ответственности. 2) Главному Управлению строго взыскивать <…> за упущения Цензоров. 3) Поставить Цензорам в непременную обязанность, не пропускать в печать выражений, заключающих намеки на строгость цензуры. 4) Пояснить, что запрещение цензурою впускать в Россию некоторые иностранные книги, заключает в себе и запрещение говорить о их содержании в журналах, а тем более печатать отрывки из них в подлиннике или переводе»[4].

Комитет потребовал от С.С. Уварова программы всех повременных изданий, фамилии издателей, редакторов, сотрудников. Уваров, недавно всесильный, постепенно превращался в промежуточную инстанцию, передающую распоряжения Комитета, становился исполнителем повелений А.С. Меншикова. Тот всё менее церемонится с ним.

27 марта С.С. Уваров направил председателю Санкт-Петербургского Цензурного Комитета документ «для предложения Цензурному Комитету и наблюдению со стороны гг.Цензоров»: «Государь Император изволил обратить внимание на появление в

---

[1] Там же, с. 429.

[2] Никитенко, с.311–312.

[3] Лемке, Очерки, с 198.

[4] Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: в типографии Морского министерства, 1862. С. 244.

некоторых периодических изданиях статей, в которых авторы переходят от суждения о литературе к намёкам политическим, или в которых вымышленные рассказы имеют направление предосудительное, оскорбляя правительственные звания, или заключая в себе идеи и выражения, противные нравственности и общественному порядку.

Вследствие сего, по Высочайшему повелению, созваны были редакторы издаваемых в С.-Петербурге периодических изданий, и им объявлено, что долг их не только отклонять все статьи предосудительного направления, но содействовать своими журналами Правительству в охранении публики от заражения идеями, вредными нравственности и общественному порядку. Его Императорское Величество повелел предупредить редакторов, что за всякое дурное направление статей их журналов, хотя бы оно выражалось косвенными намеками, они лично подвергнутся строгой ответственности, независимо от ответственности цензуры»[1]. По сути это означало возвращение к требованиям «чугунного» цензурного устава 1826 года.

Меншиковскому комитету необходимо было искать конкретные примеры, чтобы доложить царю о плодотворности своей деятельности, подтвердить вредность направления журналистики. Сперва остановились на статье К.С. Веселовского в «Отечественных записках» о жилищах рабочего люда в Петербурге, «как вредной для общественной безопасности». Но грозу пронесло. В последний момент «в заседание Комитета является один из членов, кажется П.И. Дегай, с радостным *эврика! эврика!* и заявляет, что в том же томе "Отечественных записок", в котором напечатана статья Веселовского, он нашел нечто еще лучшее или худшее, – не знаю как и сказать, – а именно повесть под заглавием "Запутанное дело", подписанную буквами М.С. под которыми скрылся автор её, Михаил Салтыков. В ней изображена печальная судьба молодого человека, сына бедного мелкопоместного дворянина»[2]. Особенное внимание обратили на сон героя повести: «В этом сне нельзя не видеть дерзкого умысла – изобразить в аллегорической форме Россию». Решено в докладе императору о статье Веселовского не сообщать, но включить повесть М.Е. Салтыкова. Она признана наиболее предосудительным и резким из всех произведений, рассмотренных комитетом. Вероятно, этому способствовала и записка М.А. Гедеонова[3], так излагавшего ее смысл: «Невозможно выписать из повести все предосудительные выдержки, потому что в с я п о в е с т ь н а п и с а н а в с а м о м р а з р у ш и т е л ь н о м д у х е (разрядка текста. – ПР). По моему мнению, общий смысл ее следующий: Богатство и почести – в руках людей недостойных, которых следует убить всех до одного»[4]. «О, добрейший Михаил Евграфович, узнал ли ты когда-нибудь, какую услугу оказал мне своим замысловатым «сном». Как, сам того не подозревая, сделался ты моим благодетелем»[5], – так заключает воспоминания об этом эпизоде своей жизни К. Веселовский.

21 апреля 1848 г. М.Е. Салтыков был арестован. Над ним нависла угроза разжалования в солдаты и отправки на Кавказ. Судьба его решалась на самом высоком уровне. В конечном итоге, «государь снизошёл к молодости» Салтыкова. Велено было за «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие», усмотренных в его повестях «Противоречия» и «Запутанное дело», «помещенных в периодических изданиях без дозволения и ведома начальства», «немедленно отправить его на служение в Вятку» под особый контроль местного губернатора[6]. 28 апреля

---

[1] Сборник постановлений С. 245.

[2] Веселовский К. «Отголоски старой памяти» // Русская старина, 1899. Т. 100, кн. X. Октябрь.. С. 14

[3] Михаил Александрович Гедеонов (1814–1855) – литератор, сотрудник булгаринских изданий, театральный цензор; в феврале 1840 г. переведен в III отделение цензором драматических произведений.

[4] Цит. по: Макашин С. А. Салтыкова-Щедрин. Биография. Т.1. Издание 2-ое. М.: Гос. издательство художественной литературы, 1951. С. 288.

[5] Веселовский, с. 17.

[6] Макашин, Биография, с. 293-294.

Салтыков, в сопровождении жандармского офицера, отправлен в ссылку (не дали даже дня на сборы и прощание с родными).

За месяц своей работы, временный негласный комитет закончил ревизию состояния периодической печати в России. К концу марта подготовлен заключительный доклад Императору. 2 апреля на докладе – резолюция Николая I. 3 апреля А.С. Меншиков посылает С.С. Уварову развернутую программу действий, из 7 пунктов, предварив её непременным «Государь Император высочайше изволил повелеть». Министру просвещения предлагалось «улучшить содержание цензоров, но с тем вместе поставить непременным правилом, чтобы цензоры не имели никаких других служебных обязанностей, дабы не отвлекаться от цензурных занятий (тоже ранее было. – ПР), и отнюдь не участвовали бы в редакции периодических изданий». Велено также «не пропускать в печать рассуждений о потребностях и средствах к улучшению какой-либо отрасли государственного хозяйства Империи, когда под средствами разумеются меры, зависящие от правительств, и вообще суждений о современных правительственных мерах». Уваров должен «обратить самое строгое внимание цензуры» на «Отечественные записки и «Современник», «замеченные особенно в помещении статей и выражений сомнительного духа». До редакторов и ответственных издателей этих журналов следует донести, что «правительство имеет за ними особенное наблюдение, и если впредь замечено будет в оных что-либо предосудительное или двусмысленное, то они лично подвергнуты будут не только запрещению продолжать свои журналы, но и строгому взысканию»[1].

29 марта 1848 года Меншиковский комитет фактически прекратил свое существование. Взамен его учрежден постоянный Комитет 2-го апреля 1848 года, тоже негласный, с задачей наблюдения не только за периодикой, но и за книгами. Председателем комитета утвержден Д.П. Бутурлин. Комитет этот, кроме председателя, состоял из трех членов, семи помощников их и правителя дел[2].

Дмитрий Петрович Бутурлин (1790-1849 г.). Участник Отечественной войны 1812 года. В 1817 – флигель-адъютант, через два года произведен в чин полковника, еще через пять лет – генерал-майора. В Русско-турецкую войну 1828-1829 гг. – генерал-квартирмейстер второй армии. В начале 1830 года вышел в отставку. Статская его служба также успешна, как и военная: сенатор (1833), член Государственного совета (1840), действительный статский советник (1846). Награжден русскими и иностранными орденами. С апреля 1843 – директор Императорской публичной библиотеки. Автор нескольких сочинений по военной истории на русском и французском языках, воспоминаний об Отечественной войне. Его двухтомная «История нашествия императора Наполеона в 1812 году» успешно выдержала два издания[3]. По словам историка, мемуариста М.Д. Бутурлина, книга эта «произвела много шуму и была авторитетною в своё время». Современные исследователи утверждают, что она и сейчас имеет определенную ценность, поскольку основана на документах. Но вот С.Г. Волконский, который знал историю войны 1812 года не по книгам и документам, а будучи ее участником, отзывался об этом фундаментальном труде уничижительно: «История его большею частью, кроме искажений многих обстоятельств и событий, большею частью панегирик живым, в силе при дворе состоящим во время его редакции, и очень часто хула несправедливая о тех, которые были в немилости, или как от умерших, не ожидал он себе поддержки или боялся от этих последних возражения»[4]. Резко расходился с Бутурлиным

[1] Цит. по: Лемке, Очерк, с. 199.

[2] В 1854 году в число членов комитета назначен и министр просвещения. – См.: Проект устава о книгопечатании. СПб.: тип. Имп. АН, 1862. С. 51.

[3]«История нашествия императора Наполеона в 1812 году». Ч. 1–2. СПб.: Военная типография, 1823–1824 гг. 2-е издание: 1837–1838 гг.

[4] Волконский С.Г. Записки. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991. С.201.

по вопросам цензуры видный государственный деятель Д.Н. Блудов. Его дочь, графиня А.Д. Блудова, рассказывает в своих воспоминаниях: «Было ли это уже что-то болезненное у Бутурлина, или врожденная резкость и деспотизм характера (которые неоспоримо существовали в нем), но он доходил до таких крайних мер в этом отношении, что иногда приходилось спросить себя: не плохая ли это шутка? Например, он хотел, чтобы вырезали несколько стихов из акафиста Покрова Божией Матери, находя, что они революционны. Батюшка сказал ему, что он, таким образом, осуждает своего собственного ангела, Св. Дмитрия Ростовского, который сочинил этот акафист и никогда не считался революционером <…>. – Кто бы ни сочинил, тут есть опасные выражения», – отвечал Бутурлин. – Вы и в Евангелии встретите выражения, осуждающие злых правителей, сказал мой отец. – Так что ж? возразил Дмитрий Петрович, переходя в шуточный тон: – если б Евангелие не было такая известная книга (так!), конечно, надобно б было цензуре исправить ее»[1].

Помимо Бутурлина, в состав комитета входили М.А. Корф и П.И. Дегай. Позже к ним присоединился начальник штаба корпуса жандармов, генерал Л.В. Дубельт. С некоторыми изменениями в составе, комитет существовал более 8 лет, пережив своего создателя почти на полгода. 6 декабря 1855 г. последовало высочайшее повеление о закрытии негласного комитета[2].

Модест Андреевич Корф – умный, на голову выше окружавших его посредственностей, не стесняющийся в средствах (выше мы говорили об его «Записке»). Выпускник Царскосельского Лицея, успешно преодолев неприятие и недоверие Николая I, быстро продвигаясь по служебной лестнице, сделал неплохую карьеру. В своих Записках Корф пишет о благоволении к нему императора, о доверительных с ним беседах, об обедах в Царскосельском дворце. О прогулке и разговоре с ним на вокзале в Царском Селе в мае 1848 года. Тогда, по его словам, Николай с одобрением отозвался о деятельности Комитета, осудил публичную критику Петра I: «более всего мне досадны глупые возгласы против Петра Великого». Тогда же интересовался А.А. Краевским и его «Отечественными записками», после «сделанной ему головомойки». Корф заверил его, что журнал принял совсем другое направление, а «повешенный над журналистами Дамоклов меч, видимо, приносит добрые плоды». На это Николай удовлетворенно заметил: «Надеюсь; и признаюсь, не могу только надивиться, как прежде допустили вкрасться противному»[3]. Другой член комитета – Павел Иванович Дегай, юрист, доктор права, знаток юриспруденции, пропагандист юридических знаний. В словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона ему дается весьма лестная характеристика. М.К. Лемке не согласен с ней: «Мне думается, что в эту одностороннюю характеристику должен быть внесен серьезный корректив, уже благодаря самому деятельному участию Дегая в комитете 2 апреля. Достаточно приведенного «эврика!», чтобы судить, что это был за господин»[4].

В основание этого учреждения были положены три главных начала: 1. Цель комитета есть высший, в нравственном и политическом отношении, надзор за духом и направлением книгопечатания. 2. Комитет, не касаясь предварительной цензуры, рассматривает единственно то, что уже вышло в печать, и о всех наблюдениях своих доводить до Высочайшего сведения. 3. Как установление неофициальное, Комитет не

---

[1] «Воспоминания графини Антонины Дмитриевны Блудовой», глава V // Русский Архив, 1874. Кн. 1. № 4. С. 726–727.

[2] В своем докладе императору Александру II председатель Комитета М. А. Корф, говоря о результатах восьмилетней деятельности Комитета, утверждал: «В сем положении не подлежит, кажется, сомнению, что комитет 2-го апреля <…> окончательно совершил свое назначение и с минованием вызвавших оный чрезвычайных обстоятельств становится отныне совершенно излишним в цензурной администрации звеном». – Проект устава о книгопечатании. СПб.: в тип. Имп. АН, 1862. С. 53.

[3] Корф. Записки, с.433.

[4] Лемке, Очерки, с. 206-207.

имеет сам по себе никакой власти, и все его заключения вступают в силу лишь чрез Высочайшее их утверждение[1]. Лично передавая членам комитета свою волю, Николай I между прочим объяснил, «что как Его Величеству нельзя самому читать всего выходящего у нас в печать, то они, члены, будут его глазами, пока это дело иначе устроится»[2]. Но внимательно читать журнал заседаний Комитета и выносить свое решение время у него, как и прежде, находилось. А.И. Герцен в «Былом и думах» назвал царя «будочником будочников». С полным основанием мы можем назвать его цензором цензоров.

Повторяю. Никто из авторов и цензоров о Комитете, его составе, функциях, самом существовании официально не знал. В законе о печати не было никаких оснований для создания этого учреждения. Но это дела не меняло. Цензоры очень боялись такой дополнительной цензуры, направленной не только против авторов, но и против цензоров. Они оправдывали свою излишнюю осторожность и строгость страхом перед Комитетом. Объединив, по всей видимости, общее впечатление от Меншиковского и Бутурлинского комитетов, 25 апреля 1848 года А.В. Никитенко записал в своём дневнике: «Панический страх овладел умами. Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникали в публику. "Отечественные записки" и "Современник", как водится, поставлены были во главе виновников распространения этих идей. Министр народного просвещения не был приглашён в заседания Комитета; ни от кого не требовали объяснений; никому не дали знать, в чем его обвиняют, а между тем обвинения были тяжкие»[3].

Таким образом, за литературой надзирала официальная цензура, со всеми ее отделениями, с напуганными цензорами, чиновники особых поручений при Главном управлении цензуры, контрольные органы различных министерств и инстанций, недремлющее око III Отделения. А сверх того – негласный Комитет, таинственный и всесильный, действующий от имени царя. Многослойная сеть слежки за всем, что печаталось в России и ввозилось из-за границы.

***

Бутурлинский комитет продолжил разбирательства, начатые временным Меншиковским комитетом. Так, 6 апреля с А.А. Краевского и А.В. Никитенко была взята подписка под высочайшим повелением: «внушить издателям "Отечественных записок" и "Современника", чтобы они на будущее время не осмеливались ни под каким видом помещать в своих журналах статей и мыслей, подобных вышеизъясненным, чтобы, напротив того, всеми мерами старались давать журналам своим направление совершенно согласное с видами нашего правительства, и что за нарушение этого, при первом после сего случае, им воспрещено будет издавать журналы, а сами они подвергнутся наистрожайшему взысканию, и поступлено с ними будет, как с государственными преступниками»[4]. Такое «внушение» было сделано также Н.А. Некрасову, И.И. Панаеву.
С.С. Уваров уже от своего имени передал предписание попечителю петербургского учебного округа с распоряжением сообщить А.А. Краевскому, что ему дан «последний срок, который он должен считать действием снисходительности». Краевский крайне напуган. Об этом сообщал М.М. Попов, чиновник III Отделения, которому поручили «побеседовать» с Краевским. В записке Л.В. Дубельту 11 апреля Попов подробно изложил

---

[1] Спустя несколько лет, было «повелено: единогласные заключения комитета приводить в действие собственною его властию, повергая на Высочайшее воззрение лишь случаи особенно важные и законодательные вопросы». - Проект устава о книгопечатании. СПб, 1862. С. 51.
[2] Проект устава, с. 49.
[3] Никитенко, с. 311.
[4] Цит. по: Лемке, Николаевские жандармы, с. 191.

содержание состоявшейся встречи. Краевский говорил много и очень эмоционально: «я русский, с детства проникнут монархическими правилами <…>, если я спокоен и счастлив, то этим обязан единственно нашему правительству, которое охраняет меня. Могу ли я подкапываться под этот порядок? <…> Все знающие меня подтвердят, что я не сделал ни одного дурного поступка, не сказал никому и никогда ничего не благонамеренного <…>. Не только за себя, но даже за других русских я готов поручиться. Вникая в них прежде и ныне, я убежден, что все они неограниченно привержены к Государю Императору и к отечеству. <….> При настоящих происшествиях в Европе, мы, все русские, одного желаем, чтобы в нашем государстве сохранился существующий порядок; об одном умоляем, чтобы Государь Император не допустил до нас потока, который в других государствах губит и общественное спокойствие, и частную собственность, и личную безопасноть. <…> Не только действовать против правительства, но я желал бы быть органом его. Не делал я этого потому, что без уполномочия правительства не имею на это права, да и цензура не пропустит подобных статей. Если бы мне поручили представлять в истинном губительном виде заграничные беспорядки, доказывать благость монархического правления, поддерживать повиновение крестьян помещикам и вообще распространять те мысли и убеждения, которые правительство желает видеть в народе, я уверен, что журнал мой был бы полезен и государству. Пусть мне дают темы, что я должен писать, или пусть мне дозволят представлять такие статьи, непропускаемые обыкновенною цензурою, высшему правительству, и я со всею готовностью буду его орудием. <…> Мысль, что меня считают способным к злоумышлению так ужасает меня, что я готов бросить издание моего журнала и жить с моим семейством в нищете, только бы правительство, которому я предан, было спокойно. <…> я желал послать письмо к графу А.Ф .Орлову, но не смею и очень желал бы, чтобы Леонтий Васильевич Дубельт дозволил мне явиться к нему и просить советов и наставлений»[1]. Пересказав все, о чем говорил А.А. Краевский, М.М. Попов добавил, что тот высказал всё приведенное по собственной инициативе, без всяких вопросов

Видно, что Краевский сильно перетрусил и старается оправдаться, несколько перебарщивая, не соблюдая меры. Но такого «патриотизма» и желали власти, не замечая «перебора», одобряя то, что сказал Краевский. В его оправданиях заметно и другое: стремление использовать ситуацию, переметнуться в лагерь официальной журналистики, предложить свое перо правительству, пропагандируя любые идеи, угодные властям, самые реакционные и официальные. При этом отмежеваться от бывших своих либеральных сотрудников, в первую очередь от В.Г. Белинского, хотя его имени Краевский не называет. Есть в его словах и подспудная жалоба (донос) на цензуру, на Министерство просвещения, которые не позволяли ему в полной мере высказывать верноподданные мысли. Время показного либерализма миновало. Наступили иные времена. Надо было спешно перестраиваться. Тем более, что такая перестройка была в большей степени в натуре Краевского, чем прежнее направление

Видимо, А.А. Краевскому разрешили встретиться с Л.В. Дубельтом, объясниться с ним, заверить его в готовности служить правительству и наметить путь к собственной реабилитации. Не исключено, что он заручился обещанием, что цензура не будет мешать пропагандировать его идеи. Вскоре, 25 мая, Краевский отправил письмо Дубельту, к которому приложил статью «Россия и Западная Европа в настоящую минуту». В письме Дубельту Краевский подробно развивает те мысли, которые он сформулировал в беседе с М.М. Поповым: в прошлом направлении журнала виноват не он, а цензура и сотрудники, сам он чуть ли не случайно увлекся пагубными идеями, которые ему глубоко чужды. Краевский почувствовал непрочность положения С.С. Уварова и не стеснялся в нападках на цензуру, подвластную министру просвещения. Попутно Краевский пытается расширить дозволенную программу журнала, утверждая, что в настоящее время вряд ли

[1] Там же, с. 191-192.

нужно ограничение отдела «Современная хроника России» одними официальными известиями (естественно, всё будет в нужном правительству направлении). В письме он повторял, что давно хотел высказаться по затронутому в статье вопросу и всегда встречал противодействие цензуры, «которая не дозволяла ни отдельных таких статей, ни даже вставочных мест в других статьях, называя их политическими рассуждениями, неуместными в журнале не политическом». Если бы не это, в его журнале давно появился бы ряд статей в подобном духе – отголосок его давних и глубоких убеждений. А.А. Краевский напомнил Л.В. Дубельту о том, что в 1837 г. статья «Мысли о России» «удостоилась Вашего одобрения в рукописи и была напечатана <…>. С тех пор, как в "Литературных Прибавлениях", так и в начатых мною в 1839 г. "Отечественных Записках", цензура не дозволяла подобных статей на основании выше сего упомянутом», он поневоле «должен был ограничиться статьями чисто учеными и литературными». Обилие статей о Западной Европе Краевский объясняет исключительно необходимостью «говорить что-нибудь в своем журнале», а говорить о России ему не позволяют, вот и вынужден был писать не о своем Отечестве, как бы ему хотелось, а об иностранном. С сожалением упомянул о чужеземном влиянии, которое «постепенно проникло в журнал» и увлекло молодых сотрудников, а те часто увлекали и его, «заставляя без внимания пропускать многое, что, по своему впечатлению на читателей, могло произвести вредные для них последствия. Все это продолжалось в таком виде до тех пор, пока страшные новейшие события не указали, к какой ужасной бездне может привести это иноземное влияние. Теперь и следа его нет в "Отечественных Записках"». Закончив оправдываться и жаловаться на горькую судьбу издателя, заверив адресата в своей искренности, Краевский перешёл к деловому предложению. Если представленная статья удостоится одобрения и такие же другие статьи будут допущены к помещению в «Отечественных записках», он «почёл бы себя счастливым, трудясь над их составлением». «Как верный сын России, как верный подданный моего Государя и благодетеля, которому я, бедный сирота, обязан всем <…>, дал бы этим статьям направление и интерес, которые возможно придать сочинению только тогда, когда пишешь его с чувством и увлечением <…>. Если Вашему Превосходительству угодно было одобрить мысль мою о составлении ряда таких статей в отделе "Современной хроники России", я осмелился бы тогда представить программу их». На письме Краевского пометка Л.В. Дубельта, показавшего статью А.Ф. Орлову: «Граф одобряет, и не находит препятствия к напечатанию, ежели обыкновенная цензура разрешит»[1]. Здесь и одобрение позиции Краевского, и нежелание распространить это одобрение на другие статьи, обещанные Краевскому (там будет видно), и некоторое отмежевание, отклонение жалоб Краевского на цензуру, подспудных просьб оказать на нее давление. Присланную же статью цензура, естественно, разрешила. В июльской книжке «Отечественных записок» статья «Россия и Западная Европа в настоящую минуту» была опубликована без подписи[2]. Направление статьи – ультра-официальное. И Краевский не лгал, что оно ему ближе прежнего, того, которое определял В.Г. Белинский. Когда было выгодно и сравнительно безопасно, Краевский мирился с направлением Белинского. Оно определяло успех, давало доход. Времена изменились – он легко от него отрекся.

Не лгал А.А. Краевский, утверждая, что в давней статье «Мысли о России», в программе «Отечественных Записок», в первых томах журнала за 1839 г. отчетливо ощущается близость издателя-редактора к идеям «официальной народности», «квасного патриотизма». Примером может послужить отрывок из статьи, помещенной в № 1 за 1839 год: «Радостны проявления ее (России. – П.Р.) прекрасной и юной жизни, здоровой,

[1] Цит. по: Лемке, Николаевские жандармы, с.193-194.

[2] «Отечественные записки, учено-литературный журнал», СПб.: в типографии И. Глазунова и Комп., 1848. июль, т. LIX, отдел III. С. 1-20.

мощной, плодотворной, заботливо лелеемой мыслью и сердцем чадолюбивого отца отечества»[1], т. е. царя.

Статья Краевского «Россия и Западная Европа в настоящую минуту» начинается с разговора о Европе, о том, что она – зрелище беспримерное, чрезвычайно поучительное. Всё строится на сопоставлении-противопоставлении: в одной части – Западной Европе - безначалие, с ужасными последствиями, в другой – России - мир и спокойствие, со всеми благами. Задаётся риторический вопрос: «Отчего в одной половине Европы ниспровержение всех государственных и общественных оснований, в другой – умилительное зрелище незыблемой законности, которая только заимствует новый блеск и силу от противоположного ей явления?». Подробно рассказывается о том, что вся история России и Западной Европы дает ответ на поставленный вопрос. И в финале вывод: о счастье быть русским; уже это – диплом на благородство среди других народов Европы. «Как в древнем мире имя Римлянина означало человека по преимуществу, так значительно в наши дни имя Русского. Мы не гордимся своею славою, силою и своими народными добродетелями, но они сами в себе заключают предмет уважения для всех народов <…> Они мечтают, что мы учимся у них жить, тогда как мы давно живем самобытною жизнью. <…> Нам надобны успехи просвещения и образованности, нам драгоценны великие люди, а развратные учения мы гоним от себя, как язву <…> «Россия! Драгоценное наше отечество! Цвети и красуйся под сению своих самодержавных Монархов, более и более утверждаясь в основных началах твоего могущества и величия. Внешние бури не испугают нас; мы отделены от них несокрушимым оплотом своей православной веры и всего нравственного и исторического своего образования»[2]. Под статей поставлена дата: 25 мая 1848 года. А 26-го умер В.Г. Белинский. Видимо, статья написана позднее, но автор сделал вид, что писал ее еще при жизни Белинского, не опасаясь его мнения (на самом деле всё же побаивался негодования «неистового Виссариона», его отпора)[3].

М.П. Погодин возмущен статьей «Россия и Западная Европа в настоящую минуту». Нет, не её идейным содержанием, а тем, что она – плагиат материалов сторонников теории «официальной народности», самого Погодина, С. Шевырева, их никем не замеченных публикаций в «Москвитянине». Краевский даже перещеголял их. Как тут было не возмущаться и не завидовать? Комитет с одобрением отозвался о статье Краевского. Д.П. Бутурлин писал о ней С.С. Уварову, как об «отличающейся верным взглядом на описываемый предмет, беспристрастным, чуждым какого-либо ласкательства и внушающим тем более доверия изложением, особою теплотою религиозного чувства и патриотическим увлечением, достойным всякой похвалы»[4]. О статье доложено царю, который выразил Краевскому через Комитет, а тот через Уварова, свое удовлетворение. Что не помешало через непродолжительное время напомнить цензорам журнала «Отечественные записки», что они должны «действовать <…> с самою величайшею осмотрительностью, не допуская ничего двусмысленного, а тем более, могущего иметь смысл предосудительный»[5].

***

---

[1] «Отечественные записки, учено-литературный журнал на 1839 год». Т. 1. СПб.: в Гуттенберговой типографии, 1839 г. С.6.

[2] «Отечественные записки, учено-литературный журнал», СПб.: в типографии И. Глазунова и Комп., 1848. Июль, т. LIX, отдел III. С. 1, 19-20.

[3] М. Лемке назвал эту подтасовку дат «кукишем из кармана». – Лемке, Очерки, с.214.

[4] Цит. по: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. В 22 тт. СПб, 1888 – 1910. Кн. 1Х. СПб., тип. М. Стасюлевича, 1895.. С. 290-291.

[5] Там же, с. 260-261.

Комитет фиксировал не только всё крамольное, но и всё туманное, неопределенное, дающее повод к предположению и двоякому толкованию. При этом главное внимание обращалось на «междустрочный смысл сочинений», не столько на видимую, «сколько на предполагаему*ю* цель автора», не на прямое содержание статей, а на «приличие или *у*местность их», на что и указывалось министру просвещения. Надзор распространялся и на сочинения, выпущенные ранее. Так, например, по поводу какой-то поэмы Д.П. Бутурлин писал графу Уварову: «Хотя означенная поэма была рассмотрена цензурою еще прежде происшествий на Западе, но как проявления подобных мыслей не следовало допускать в нашей литературе, то комитет полагал предоставить вашему сиятельству сделать цензору за пропуск означенных стихов строгое замечание»[1]. Комитет контролировал и губернские ведомости, и специальные издания. Например, недовольство вызвало сообщение о 50-летнем юбилее наборщика в Митаве, а в немецком словаре обнаружили несколько неприличных слов и т. п.

Комитет обращал внимание и на механизм управления цензурой, указывал на неисправности в цензурном ведомстве. С.С. Уваров к этому времени уже не имел личных докладов у царя, лишен был всякой самостоятельности, не решался сам, даже при помощи Главного управления цензуры, принимать какие-либо решения, дозволяющие или запрещающие ту или иную статью. Он посылал их на утверждение в III Отделение, А.Ф. Орлову.

Д.П. Бутурлин обращался с С.С. Уваровым как с подчиненным. 16 апреля 1848 г., в первой официальной бумаге министру об учреждении Комитета, было отдано распоряжение о доставлении для его председателя в Публичную библиотеку[2] сведений о выпущенных книгах, брошюрах, отдельных листах. Далее следовали другие повеления. Уварову оставалось только выполнять их. 20 июня, согласно распоряжению Комитета, Уваров приказывает: «Не должно быть допускаемо в печать никаких, хотя бы и косвенных, порицаний действий или распоряжений Правительства и установленных властей, к какой бы степени сии последние ни принадлежали»[3]. 29 июня последовала распоряжение о цензуре изданий литографированных пособий, о необходимости указывать имя профессора, давшего разрешение литографировать свои лекции, «чтобы на нем лежала полная ответственность за содержание таких записок»[4].

В первые же месяцы своего существования, Комитет обратил внимание на газету «Русский инвалид», принадлежащую военному ведомству. Д.П. Бутурлин, выражая волю императора, обращает внимание военного министра князя А.И. Чернышева на то, что «русские газеты читаются и всеми мелкими чиновниками, и на гостином дворе, и в трактирах, и в лакейских, рассыпаясь таким образом между сотнями тысяч читателей, для которых все это свято как закон, потому уже одному, что оно печатное. В таком смысле нет, без сомнения, никакой пользы и надобности, чтобы эти многочисленные читатели, из коих самая большая часть стоит на низшей степени образования и общественной лестницы, знали, например, что в Париже трон выброшен в окно и всенародно сожжен, или читали те комунистские (так!) выходки, те опасные лжеумствования, которыми теперь так обилуют заграничные журналы? <…> По мнению его величества, статьи <…> могут способствовать постепенному вторжению и в наше простонародие того губительного образа мыслей, который обтекает теперь Францию и Германию <…> иногда и простое сообщение голых фактов <…>, даже если б изображать их и в ярких красках того омерзения, коего они заслуживают, оказывалось бы не менее вредным и

---

[1] Цит. по: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1892. С. 345.

[2] В 1843–1849 гг. Д.П. Бутурлин был директором Публичной библиотеки.

[3] Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: в типографии Морского министерства, 1862. С. 250.

[4] Там же, с. 252.

предосудительным»[1]. Чернышев, в свою очередь, сообщает это распоряжение председателям Военно-цензурного и Александровского комитетов. Высочайшая воля сообщена и господину канцлеру иностранных дел, чтобы тот донес её до «тех лиц, на коих упомянутая цензура возложена, с тем чтобы они имели впредь самое строгое, в указываемом ныне смысле, наблюдение».

***

К «Отечественным запискам», круто изменившим свое направление, Комитет относится довольно благожелательно. Иначе обстоит дело с «Современником». В 1848 г. был фактически уничтожен «Иллюстрированный альманах», подготовленный И.И. Панаевым и Н.А. Некрасовым, как бесплатное приложение. Он был уже отпечатан. Выход его согласован с цензурой. Дано цензурное разрешение на выпуск. Но альманах так и не появился. А.Я. Панаева, печатавшая свои произведения под псевдонимом Н. Н. Станицкий, вспоминала о многочисленных к нему придирках. «"Альманах" в руках цензуры стал чахнуть: из него выбрасывались целые статьи и калечились те, которые оставались. Мое первое произведение "Семейство Тальниковых", помещенное в "Альманахе", обратило особенное внимание Бутурлина. Он собственноручно делал заметки на страницах: "цинично", "неправдоподобно", "безнравственно", и в заключение подписал: «не позволяю за безнравственность и подрыв родительской власти»[2]. Запрещена была повесть А.В. Дружинина «Лола Монтес», «Старушка» А.Н. Майкова, «Встречи на станции» И.И. Панаева – в целом произведения безобидные. Возмутили и карикатуры Н.А. Степанова, помещенные в альманахе. Особое внимание привлекли две из них: «Белинский, не узнающий свою статью после ее напечатания» (т. е. изрезанную цензурой) и «Панаев и Некрасов». По мнению цензора А.Л. Крылова, «допустив однажды карикатуры литераторов и артистов, цензура встретит несомненно большое затруднение впоследствии. Пущенные в ход карикатуры не остановятся на одних литераторах и артистах. Любители изданий такого рода захотят потом выводить в них и администраторов»[3].

Готовя альманах, Н.А. Некрасов думал этим поднять подписку на «Современник». Он не жалел денег на издание, заботился об его внешности, о рисунках. Альманах обошелся в 4 тысячи рублей серебром (большая сумма по тем временам). После его запрещения, тираж (его не успели переплести) в пачках свален на чердаке у Некрасова. «Когда надо было переезжать на другую квартиру, – вспоминала А.Я.Панаева, – я пошла на чердак и удивилась, заметив, что пачки листов развязаны и валяются в беспорядке. Прислуга объяснила мне, что бывший лакей Некрасова водил на чердак букинистов и продавал им бумаги на вес. Ясно, что из этих листов составлялись книжки и втихомолку распродавались»[4]. Спасибо лакею. Благодаря его предприимчивости, альманах уцелел, хотя и в таком разобранном виде (ныне большая библиографическая редкость).

Даже Ф.В. Булгарин удостоился внимания Комитета. В июльской книге «Библиотеки для чтения» напечатаны его воспоминания, в которых речь шла и о М.М. Сперанском. Тот уже давно не опальный. А все же лучше не упоминать. Комитет отметил, что царь сделал ряд замечаний на статью: преувеличена роль Сперанского, его падение приписывается лишь проискам недоброжелателей, с одобрением говорится об его финансовом плане и пр. Итог: император повелел «сделать автору приведенной статьи строгий за нее выговор»[5]. Трудно сказать, кто был в данном случае инициатором. Сам ли царь обратил на статью внимание или Комитет помог ему сделать это? Один из петербургских знакомых сообщал

---

[1] К истории русской цензуры. Сообщение А. М. Княжевича // Русская старина, 1872. Т. 5, кн. V. С. 784–786.

[2] Панаева А. Я. (Головачёва). Воспоминания. М.: «Правда», 1986. С. 177-178.

[3] Цензура в царствование Императора Николая I, ч. XII // Русская старина, 1903. Т. 115. Август. С. 411.

[4] Панаева, с. 178.

[5] См.: Лемке. М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. С. 215.

М.П. Погодину, что цензура не пропустила в «Северной пчеле» объявление о книге профессора М.С. Куторги «История Афинской республики»*:* «Заглавие казалось революционным… Впрочем, и здесь раз Елагин не пропускал, что картофель болен. Пожалуй, и здесь можно видеть хулу против Промысла. В Петербурге теперь решительно панический страх между литераторами»[1]. Цензор Мехелин вымарывал все имена республиканцев, сражавшихся за свободу Греции и Рима. «Вымарываются не рассуждения, а просто имена и факты. Такой ужас навел на цензоров Бутурлин с братией, то есть с Корфом и Дегаем»[2].

Изданиям полиции тоже доставалось. «Ведомости С.-Петербургской полиции» напечатали уведомление, что статья одного автора не опубликована «по причинам, от редакции не зависящим». Д.П. Бутурлин сразу же сообщил об этом С.С Уварову, как о нарушении запрещения публиковать материалы, намекающие на цензурные строгости. «Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще более осложняли дело. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу родных и друзей»[3]. М.К. Лемке приводит ряд примеров, свидетельствующих о безудержной строгости Комитета. Так, Уварову было приказано распорядиться, чтобы университеты прекратили выписывать журналы и газеты[4].

***

К декабрю 1848 г. над обществом, по словам А.В. Никитенко, нависла непроницаемая свинцовая туча: «Произвол в апогее», «наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему»; «Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и уверяющий, что Россия столь благословенна Богом, что проживет одним православием, без науки и искусства. Патриоты этого рода не имеют понятия об истории и полагают, что Франция объявила себя республикой, а Германия бунтует оттого, что есть на свете физика, химия, астрономия, поэзия, живопись и т.д. <…> все подпольные, подземные, болотные гады выползли, услышав, что просвещение застывает, цепенеет, разлагается…»[5]. Даже М. А. Дмитриев[6], не замеченный в пристрастии к либеральным идеям, в письме к М.П. Погодину по поводу запрещения его статьи, резко отозвался о цензуре: «Неужели мы одни во всем мире лишены права мыслить и печатать?»[7]. М.П. Погодин подумывал об адресе литераторов Императору «о излишествах и стеснительных действиях цензуры». И.В. Киреевский, напуганный этой идеей, попросил Погодина ничего не предпринимать: в настоящий момент адрес совершенно неуместен, может принести лишь вред.

В конце 1848 г. в дневнике А.В. Никитенко для обозначения России появилась иносказательная формула «Сандвичевы острова». «События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах. Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться<…> Произвол, обличенный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне. <…> Поэтому на Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв <…> клеймятся и обрекаются гонению и гибели. <…> Поворот назад, таким образом, сделался гораздо легче, чем ожидали и надеялись некоторые мечтатели. Это даже не ход назад, а быстрый бег обратно по плоской

---

[1] Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. В 22 тт. СПб.: Погодин и Стасюлевич, 1888 – 1910. Кн. IX. 1895. С. 284.

[2] Никитенко, с. 326.

[3] Никитенко, с.312.

[4] Лемке, Очерк, с. 219.

[5] Никитенко, с. 317-318.

[6] Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866) — поэт, переводчик, мемуарист, сотрудник «Москвитянина».

[7] См.: Лемке, Очерки, с.220.

возвышенности»[1]. Такое попятное движение поддерживается и общественными настроениями. На защите одной магистерской диссертации по естественным наукам «О зародыше вообще и о зародыше брюхоногих слизняков» диссертант иногда вставлял латинские, немецкие, французские термины. На этом основании один из профессоров заявил, что тот «не любит своего отечества и презирает свой язык»; намекнул, что диссертант «склонен к материализму». Т.е. профессор «вместо ученого диспута направился прямо к полицейскому доносу. Такова судьба науки на Сандвичевых островах. Мудрено ли, что тамошние власти презирают и науку и ученых?»[2].

В конце 1848 г. распространялась карикатура, «которая, уверяли, продавалась тайком в лавках, хотя, разумеется, нигде нельзя было её купить». Из бутылки с шампанским вылетела пробка – выплескиваются троны, короли, министры. Это Франция. Из бутылки с густым темным пивом медленно выжимаются короли, герцоги и пр. Это Германия. Пробка бутылки с русским пенником (крепкой водкой) обтянута прочной бечевкой и запечатана казенной печатью с орлом. «Не нужно прибавлять, что это – Россия» [3].

***

Все перечисленные выше события относились к 1848-му году. Потом настал 1849-й. Д.П. Бутурлин выступил с проектом закрытия университетов. Проект этот сделал имя автора печально знаменитым на века:

Скрутили бедную цензуру —
Послушав, наконец, клевет,
И разбирать литературу
Созвали целый комитет.
По счастью, в нём сидели люди
Честней, чем был из них один,
Палач науки Бутурлин.
Который, не жалея груди,
Беснуясь, повторял одно:
«Закройте университеты,
И будет зло пресечено!.»
(О муж бессмертный! не воспеты
Ещё никем твои слова,
Но твёрдо помнит их молва!
(Н.А. Некрасов. «В.Г. Белинский». В одном из переулков дальних… 1855 г.).

Даже С.С. Уваров понимает мракобесие проекта. К тому же Бутурлин в данном случае вмешался не только в дела порученной ему цензуры, но и в компетенцию Министерства просвещения, подчиненного Уварову. Чувствуя немилость царя и возможность отставки, он вынужден идти ва-банк. В мартовской книжке «Современника» появилась без подписи статья И.И. Давыдова «О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании»[4], инспирированная Уваровым, который выступил в данном случае и в роли цензора.

> Профессор Давыдов – отнюдь не поборник прогресса. Ярый сторонник Уварова, его «теории официальной народности». Знаменательно, что он, читая лекции по русской литературе, не упоминал имени Пушкина. Позднее он – директор Педагогического института, в котором учился Н.А. Добролюбов. В переписке последнего нередко

[1] Никитенко, с. 315.
[2] Никитенко, с. 316.
[3] Корф. Записки, с.425.
[4] «Современник», 1849, т. XIV, р. II «Науки и художества» ,с.37-46.

встречаются крайне негативные отзывы о Давыдове. Против него направлена статья-памфлет Добролюбова «Партизан И.И. Давыдов во время Крымской войны», впервые напечатанная осенью 1858 г. в «Колоколе» А.И. Герцена. Тем не менее, именно Давыдов выступил в 1849 г. критиком проекта Бутурлина, защитником университетов. В данном вопросе он оказался в какой-то степени союзником «Современника», сторонником просвещения. Не случайно его статья появилась в журнале Некрасова.

В своей статье И.И. Давыдов осудил мысли и слухи о закрытии университетов. Он пытается объявить подобные слухи злонамеренными, противоречащими желаниям правительства. Университеты, по его словам, вовсе не вредны, даже полезны. Давыдов, как и А.А. Краевский, сопоставляет Россию и Запад. Там – смуты и потрясения. Там – люди, для которых не существуют ни вера, ни закон, ни права, ни обязанности. В России всё иначе: «в православной и боголюбимой Руси благоговение к Провидению, преданность Государю, любовь к России – эти святые чувствования никогда не переставали питать всех и каждого; ими спасены мы в годины бедствий; ими возвышены на степень могущественнейшей державы, какой не было в мире историческом. В благодарственном умилении к Подателю всех благ и Самодержцу нам остается лишь только наслаждаться этими благами»[1]. Казалось, куда уж благонамереннее?! Ан, нет! Защищая университеты, профессор Давыдов прибегнул к любопытной уловке. Он пытается поставить на одну доску неназванного Д.П. Бутурлина и тех людей, которые хотят неоправданных преобразований (т. е. закрытия университетов. – ПР). Именно такие люди, по словам Давыдова, поверхностные, жаждущие перемен, распространяют слухи о закрытии университетов (намек, что такие люди смыкаются с европейскими сторонниками перемен). Желание закрыть университеты Давыдов связывает с ложными понятиями, которые порождают «недовольство существующим и несбыточные мечты о нововведениях». Он говорит о благотворном участии университетов в общественном образовании. Они – опора престола. «Под их сенью воспитываются и учёные, и писатели, и мужи государственные. От кафедр университетских разливается свет народного образования в училища всех ведомств. Отсюда образованные благородные юноши ежегодно исходят на верное служение обожаемому Монарху»[2].

Статья произвела впечатление на публику. Д.П. Бутурлин принял вызов. Уже через несколько дней после выхода «Современника», 17 марта он от имени Комитета пишет С.С. Уварову, что по внешнему изложению в этой статье нет ничего предосудительного: выражается благодарность правительству, преданность государю, любовь к России. Но внутренний её смысл – тайная мысль, которую не следовало допускать в печати – «неуместное для частного лица вмешательство в дела правительства». По мнению Бутурлина, такие мысли можно было бы представить на благоусмотрение начальства, в виде выражения скромных желаний, но совсем иной вид они имеют в печати, в журнале. Журналы не могут быть судьями в делах государственных. Поэтому Бутурлин требует сообщить ему имя автора, сделать внушение редакторам, особенно редактору «Современника», напечатавшему статью. Он предписывает сообщить всем цензорам, что правительство отнеслось к статье с неудовольствием, что ничего подобного в дальнейшем не должно допускаться. Решение комитета было доложено царю. Последовала высочайшая резолюция: «Узнать, как сие могло быть пропущено». С.С. Уваров решил не отступать. 21-го марта он подал письмо-доклад императору: о закрытии университетов распространяются «нелепые слухи»; от них «нельзя было ожидать ничего благоприятного». Он считает такие слухи не заслуживающими серьезного внимания: «Ваше Императорское Величество не изволили изъявлять мне Августейшей мысли об уничтожении или преобразовании наших высших учебных учреждений; напротив того, всегда благодушно ободряемый снисходительным вниманием Вашим к устройству

[1] «Современник», 1849, т.XIV, р.II «Науки и художества», с. 37.
[2] Там же, с. 46.

учебных заведений министерства, я еще недавно удостоился слышать изъявление столь драгоценного для меня удовольствия Вашего Величества насчет похвального общего духа и порядка, сохранившихся и в сие тяжкое время между обучающимся юношеством министерства народного просвещения». Распространяемые слухи, по словам Уварова, «не могли произвести действия благоприятного»; они проникают и во внутренние губернии России, тревожат умы; родители опасаются за дальнейшее существование высших учебных учреждений, за образование своих детей. В докладе говорится о подробной Записке, которая ходит по рукам, направленной против общей системы образования; в ней требуется «уничтожение всех русских университетов, оставляя один дерптский неприкосновенным». Он, Уваров, объяснялся по этому вопросу с шефом III отделения А.Ф. Орловым. В статье, напечатанной в «Современнике» нет ничего ни о слухах, ни о намерениях правительства, о чем говорит Комитет. Статья написана «с благонамеренностью, с «нелицемерною преданностью правительству, с знанием предмета <…> с любовью к просвещению истинному и благотворному.<…> статья может содействовать косвенно к исправлению возбужденных в публике превратных толков и ошибочных понятий». По мнению Комитета, «статья <…> не имеет ничего предосудительного <…> везде говорится в ней о приверженности и благодарности к правительству, о преданности к государю, о любви к России». Обвинение Комитета построено на том, что внутренний смысл статьи – «неуместное для частного лица вмешательство в дело правительства». Между тем, статья профессора Давыдова, признанная Комитетом вполне лояльной, но недопустимой, была им (Уваровым) одобрена. Забыв, что совсем недавно он сам требовал от цензоров искать тайный смысл, министр просвещения гневно восклицает: «стремление, не довольствуясь видимым смыслом, прямыми словами и честно высказанными мыслями, доискиваться до какого-то внутреннего смысла, видеть в них одну лживую оболочку, подозревать тайное значение – это стремление неизбежно ведет к произволу и несправедливым обвинениям в таких намерениях, которые обвиняемому и на мысль не приходили». В своём пространном докладе министр просвещения утверждал, что в течение года пытался избегать столкновений с Комитетом, не утруждал Императора разбирательствами между ним и Бутурлиным, но создавшееся положение требует вмешательство монарха. Комитет «не требуя никаких предварительных объяснений <…> делает свои заключения, кои по высочайшем одобрении принимают силу закона». По мнению Уварова, в сложившейся ситуации «двоевластия» в деле цензуры, столкновения сторон неизбежны. Он предлагает радикальное решение: «дабы дать цензурному делу одно постоянное течение и прекратить столкновения <…>, отделить от министерства народного просвещения всю цензуру вообще, или, по крайней мере, повелеть передать Комитету <…> цензуру журналов и газет». В таком случае, полагает Уваров, будет дано единое направление наблюдению «за ходом периодической литературы» и ответственность за распоряжения будет возложена на того, кто это направление задает. Тогда «единство, необходимое для охранения служебного порядка и однообразного действия, будет опять восстановлено». (Так ненавязчиво министр подчеркивает, что единство существовало, пока не был создан Комитет). Но, поскольку Комитет официально является безгласным, возможен и другой вариант: передать цензуру журналов и газет III отделению, откуда «и поступит она в комитет 2 апреля 1848 года, если на сие последует высочайшее соизволение». Высочайшее соизволение не поступило. Более того, резолюция царя, резкая и грубая, стала одним из символов николаевского царствования: «Не вижу никакой уважительной причины изменять существующий ныне порядок; нахожу статью, пропущенную в "Современнике", неприличною, ибо ни хвалить, ни бранить наши Правительственные учреждения, для ответа на пустые толки, не согласно ни с достоинством Правительства, ни с порядком у нас, к счастию, существующим. Должно повиноваться, а рассуждения

свои держать про себя. Объявить цензорам, чтобы впредь подобного не пропускали, а в случаях недоумений, спрашивали разрешения. Вам же путь ко мне всегда доступен»[1]. Последняя фраза несколько смягчала общий тон резолюции, но сути дела не меняла: в столкновении с Комитетом Бутурлина С.С. Уваров потерпел поражение.

Через два дня, 24 марта, последовало распоряжение: «По высочайшему повелению, впоследовавшему вследствие всеподданнейшего доклада Министра Народного Просвещения по поводу статьи: О значении русских университетов. Впредь не должно быть пропускаемо ничего на счет наших правительственных учреждений, а в случаях недоумений, должно быть испрашиваемо разрешение»[2]. В ответ на ехидный вопрос Бутурлина, когда будет опубликована царская резолюция, Уваров, не хотевший ее печатать, сообщил, что высочайшая воля по поводу его доклада незамедлительно выполнена. На этом история не закончилась. Через месяц, в конце апреля, С.С. Уваров отправился в Москву осматривать университет. М.П. Погодин, воспевавший каждый его шаг, поместил в «Москвитянине» заметку «Почетный гость на лекциях Университета». Назвал имена профессоров, чьи лекции посетил Уваров и с которыми он беседовал о Римском праве и Слове о полку Игореве, чем продемонстрировал не только «радушное внимание к лекциям профессорским», но и всю многосторонность своих «разнообразных сведений». А затем затронул болезненную для Уварова тему. Он не только дал сноску на опубликованную в «Современнике» статью И.И. Давыдова, но позволил себе комментарий: «В то время, когда праздные люди толкуют о каком-то преобразовании Университетов и становится необходимым стать за них во имя просвещения, членам Московского Университета приятно видеть, что государственные сановники, успевшие в жизни своей соединить постоянную верность началам Русским с высокой степенью Европейского просвещения, обнаруживают к Университетам самое искреннее участие и смотрят на них, как на верные рассадники Русского просвещения»[3]. Д.П. Бутурлин сразу обратил внимание на заметку. 18 апреля он сообщает об этом Уварову, особенно отметив фразу «становится необходимым стать за университеты во имя просвещения», как нарушение воли Николая I. Более того, он заметил, что был вынужден довести это до сведения Императора, который на докладе начертал: «Министру народного просвещения подтвердить, что я решительно запрещаю все подобные статьи в журналах за и против университетов»[4]. 21 апреля по Высочайшему повелению, объявленному Комитетом, последовало следующее распоряжение: «Все статьи в журналах за университеты и против них решительно воспрещаются к печати»[5]. Последнее слово осталось за Бутурлиным.

***

Власти стремятся всеми способами ограничить ввоз иностранных книг. Еще 8 апреля 1848 г. С.С. Уваров во всеподданнейшем докладе сообщал о мерах по цензурному ведомству в этом направлении. В частности, о новой, более высокой пошлине на заграничные книги. Это должно было принести 60 тыс. годового дохода и сократить поступление книг с Запада. 31 мая 1849 г. Комитет запретил «самым решительным образом», критики «на иностранные книги и сочинения, запрещенные и потому не должные быть известными»[6]. Во главе комитета иностранной цензуры поставлен А. И. Красовский, «человек с дикими понятиями, фанатик и вместе лицемер, всю жизнь,

---

[1] Цит. по: Барсуков, кн. X, с.533 – 538.

[2] Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год . СПб.: в типографии Морского министерства, 1862. С. 258.

[3] «Москвитянин», 1849, №7, кн.1. С. 106.

[4] Цит. по: Лемке, Очерки, с.234.

[5] Сборник постановлений, с. 258.

[6] Там же, с.261.

сколько мог, гасивший просвещение»[1]. По сути, ввоз иностранных книг прекращен. Товарищ министра просвещения П.А. Ширинский-Шихматов обратился к царю с вопросом: должны ли подвергаться цензуре иностранные книги, выписанные особами императорского дома. Ответ Николая: «Не исключать из цензуры, но при выдаче прописывать, какие сочинения цензурою не пропускаются»[2]. 18 декабря 1850 г. разрешено получать «безусловно запрещенные книги» Председателю и Членам Государственного Совета, Министрам и лицам на правах министров, «с подпискою никому не передавать этих книг». А министру народного просвещения приказано раз в месяц представлять царю «список книг, выписанных на имя означенных лиц, и на выдачу по принадлежности испрашивать Высочайшее соизволение»[3].

Анекдотический, но весьма печальный пример цензурных придирок – рассмотрение книги «Etude sur l'etat social actuel en Europe» («Исследование текущего социального положения в Европе») с опровержением идей утопического социализма. Комитет предложил С.С. Уварову сделать замечание цензору, пропустившему книгу (об авторе не упоминалось[4]). Уваров отказался это сделать: книга была разрешена Главным управлением цензуры. Но Д.П. Бутурлин настаивал на своем, подробно, в 4-х пунктах, обосновав свое мнение в докладе, представленном Николаю I. Основной тезис - «лучше<…> оставлять в прежнем о нем (зле. – ПР) неведении, нежели знакомить с ним, даже посредством порицаний и опровержений». Напротив этого пункта государь император соизволил начертать: «неоспоримая истина»[5].

Не менее анекдотична реакция на совершенно безобидную публикацию Ф.В. Булгарина. В 21 номере «Северной пчелы» от 2 июня 1848 г. был напечатан фельетон об извозчиках, требующих с возвращающихся после концертов в Павловске непомерную плату, особенно в плохую погоду, которая часто бывает в Петербурге и Царском Селе.
Недовольство Императора вызвала попытка автора выставить на «общий приговор публики» недостатки, которые должны искоренять власти. «Государь Император изволил заметить, что Цензуре не следовало пропускать сей выходки» и «Высочайше изволил повелеть сделать общее по цензуре распоряжение»[6]. Вскоре последовало распоряжение Комитета: «Не должно быть допускаемо в печати никаких, хотя бы и косвенных, порицаний действий или распоряжений Правительства и установленных властей, к какой бы степени сии последние не принадлежали»[7]. Замечание автора о дурной погоде также имело последствия. П. Каратыгин в своих воспоминаниях рассказывает о внушении, которое было сделано Ф. Булгарину: «вольнодумствовать вздумал? …Климат царской резиденции бранишь? Смотри!»[8]. Не исключено, что этот пример мелочной цензуры, повторявшийся в разные годы[9], нашел отражение в стихотворении Н.И. Добролюбова «Чувство законности»[10] («От извозчиков зло и опасности») и Н.А. Некрасова «Фельетонная букашка»[11]:

---

[1] Никитенко, с.463.
[2] Сборник постановлений, с. 267.
[3] Там же, с. 268.
[4] Феликс Мясковски (Feliks Miaskowski) (1809- 1889). Экономист, писатель, публицист. Первое издание указанной книги: СПб, 1849 г. Издатель Чарльз Крей (Charles Kray).
[5] Цит. по: Цензура в царствование императора Николая 1, ч. VIII // Русская старина, 1903. Т. 115. Июль. С. 145, 146.
[6] Сборник постановлений, с. 249, 250.
[7] Там же, с.250.
[8] Каратыгин П. Бенкендорф и Дубельт // Исторический Вестник, 1887. Т. XXX, с. 168.
[9] В «Северной пчеле» №277 за 1853 г. напечатан фельетон Ф. Булгарина об извозчиках. Внимание Комитета привлекли следующие строчки: «С нетерпением ожидаем исполнения предписания о введении таксы , или определенной цены за поездки извозчиков». – «Булгарину велено сделать строжайший выговор» – Никитенко, с. 377, 529.
[10] Впервые напечатано в «Искре» в 1859 г.
[11] Впервые напечатано в «Современнике» в 1866 г.

Ох! Было время – вспомнить больно!
Дрожишь, бывало, за статью.
Мою любимую идейку,
Что в Петербурге климат плох,
И ту не в каждую статейку
Вставлять без боязни я мог.

***

3-го апреля 1848 г. Председатель временного негласного комитета А.С. Меншиков сообщил министру просвещения С.С. Уварову о намерении царя приступить к пересмотру цензурного устава. Устав 1828 г. казался слишком либеральным, в связи с «излишней в нем свободой сочинителей и стеснением цензоров». 14 апреля комитет по пересмотру устава под председательством товарища министра П.А. Ширинского-Шихматова начал свою работу. 5 мая 1848 г. Николай I одобрил основное направление будущих преобразований. С.С. Уваров решил, что разработка и утверждение устава могут оказаться ему полезными, укрепить положение цензурного ведомства и сделать излишним существование негласного комитета. В начале января 1849 года он представил свой проект нового устава о цензуре. Он был написан вполне в духе Комитета 2 апреля 1848 года, но при этом являл собой угрозу самому его существованию. Поэтому все было сделано для получения бумаг Уварова на предварительное рассмотрение. Журнал заседаний Комитета пестрит резкими замечаниями, среди которых, вполне понятное отвержение предложения учредить особый цензурный департамент. «Некоторые из сих перемен и прибавок излишни, другие не удовлетворяют своему назначению, иные же невозможны в исполнении, и все вообще отнюдь не доказывают и не подтверждают собою необходимости в издании нового устава». Отмечалось, что устав 1828 г. имел недостатки, но они не существенны, что сами правила его, если их не нарушать, более или менее достаточны для достижения цели, которую имеет правительство: «не вредя успехам истинного просвещения и не останавливая его развития, обуздывать печатное выражение всякой мысли неблагонамеренной или неосторожной». И делается вывод: в предлагаемом уставе мало нового, по сравнению с уставом 1828 г., а то, что ново, «бесполезно стесняет развитие печати». Поэтому нет необходимости изменять устав. После такого заключения Государственный Совет не одобрил проект устава в целом. Царь утвердил мнение Совета. Устав 1828 г. сохранился и, по словам М.К. Лемке, «по-прежнему оставался лишь формой, прикрывавшей любое неюридическое содержание»[1]. При этом ни члены Комитета, ни члены Государственного совета и не заметили, что своим решением нарушают волю государя-императора. Не заметил этого и сам Николай I.

Итак, С.С. Уваров потерпел двойное поражение: по вопросу об университетах и о цензурном уставе. В 1849 г. (20 октября), сразу после решения Государственного Совета, он выходит в отставку[2]. Осенью 1849 г. умер Д.П. Бутурлин. Вскоре умер и П. И. Дегай. Новым руководителем Комитета стал генерал-адъютант Николай Николаевич Анненков, – фигура, вполне достойная Бутурлина. Ненависть к просвещению, науке, литературе. То же, что и у предшественника, понимание общественной жизни. 27 января 1850 г. новым министром просвещения назначен князь П. А. Ширинский-Шихматов.

М.А.Корф утверждал, что причина назначения Шихматова – его записка царю «о необходимости преобразовать преподавание в наших университетах таким образом,

[1] Лемке, Очерки, с.242-243.

[2] С. С. Уваров умер в 1855 г., но активная деятельность его кончилась в конце 1840-х гг. Конец ее совсем не похож на триумфальное начало. Хотя взгляды его оставались прежними, он оказался не у дел.

чтобы впредь все положения и выводы науки были основываемы не на умствованиях, а на религиозных истинах, в связи с богословием». Записка царю понравилась, последовала аудиенция, во время которой Шихматов развил свои взгляды. Сразу после его ухода царь сказал: «Чего же нам искать еще министра просвещения? Вот он найден»[1]. Назначение Шихматова широкой публикой было встречено с неудовольствием. Он не пользовался общественным уважением – у него репутация человека ограниченного, святоши, обскуранта. Удивлялись, что царь, недовольный Уваровым, заменил его бывшим сподвижником, «участником всех действий или бездействий уволенного министра». Острили, переделав его фамилию в Шахматов: «просвещению в России дан не только шах, но и мат». Вспоминали о его духовных одах, академических речах, «отличавшихся всегда строгим классицизмом и бездарностью, злорадно припоминали, как все это отделывалось в журналах двадцатых годов, когда ни критикам, ни цензорам, конечно, не могло даже и присниться, что сочинитель станет некогда во главе русского просвещения и высшим начальником последних»[2]. Существовало и другое мнение, не столь категоричное: «Князь Шихматов был добр и по природе и по убеждению христианина, справедлив, прост и доступен. Он не отличался, подобно своему предшественнику (Уварову), ни блестящим умом, ни даром слова.<…> Он собственно не был государственным человеком <…>. он не имел достаточно ни нравственного, ни гражданского мужества, чтобы смело повернуть против ветра руль своего корабля»[3]. Впрочем, надо учесть, что слова эти произнесены после смерти Платона Александровича. П.А. Шихматов не был так уж стар, но всеми воспринимался как глубокий старик. Здесь, видимо, сказался не столько возраст, но литературная позиция, мировосприятие, связанное с его воспитанием, и слабое здоровье. Он «откровенно подал руку Комитету 2 апреля и указания его принимал не как посягательство на свою самостоятельность, а как дружелюбную помощь и содействие для достижения общей цели – сообщения литературе более удовлетворительного направления» [4].

И П.А. Шихматов, и Н.Н. Анненков, при всей их враждебности малейшему проявлению либерализма, фигуры гораздо менее яркие и колоритные, чем их предшественники (С.С. Уваров, Д.П. Бутурлин). Они – исполнители, а не творцы в насаждении мракобесия. Но творцы и не требовались. Машина была налажена и работала бесперебойно.

***

В 1849 году самой значительной и вместе с тем курьезной в деятельности комитета 2 апреля была история с изданием петрашевцами в 1845-1846 гг. двух выпусков «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Первый выпуск, который редактировал В.Н. Майков при участии М.В. Петрашевского, благополучно прошел цензуру и почти весь был распродан. Второй выпуск редактировал Петрашевский (М. Буташевич), он же написал и большую часть статей. Четверть тиража была распродана, более полутора тысяч экземпляров были конфискованы по распоряжению цензурного комитета[5]. Через полгода после ареста Петрашевского и членов его кружка (апрель 1849 г.), на 1 выпуск наконец обратил внимание Комитет. «По тщательному рассмотрению означенной книжки, комитет не мог не признать в ней направления не только двусмысленного, но и прямо предосудительного». В ней усмотрено явное намерение «развивать такие идеи и понятия, которые у нас могли бы повести к одним лишь самым вредным последствиям». Обнаружено значительное количество слов непозволительных, поскольку «самое даже благонамеренное объяснение

---

[1] Корф. Записки, с. 504.
[2] Там же, с. 503.
[3] Никитенко, с. 368, 369.
[4] Цит. по: Лемке, Очерки, с. 247.
[5] 2-й выпуск «Карманного словаря…» (1599 экз. из 2000) был сожжен в феврале 1853 г. в присутствии цензора А. Л. Крылова и секретаря цензурного комитета.

их значения поведет к толкованиям, вовсе не свойственным образу и духу нашего правления и гражданского устройства»[1]. Но даже словам, «прямое значение коих не могло бы, по-видимому, вызывать какие-либо отвлеченные умствования, как-то: аполог, анализ, идеал, идиллия, ирония и др., приведенными при них толкованиями или примерами, придан смысл неблагонамеренный». Комитет посчитал необходимым «все оставшиеся нераспроданными экземпляры книжки, как весьма вредной и опасной, извлечь из продажи». И предоставить «министерству народного просвещения сообразить: можно ли цензора Крылова, имевшего неосторожность или неблагоразумие пропустить подобное сочинение в печать, оставлять в должности цензора», хотя он цензуровал книгу за несколько лет до «смутных происшествий на Западе». Император откорректировал решение Комитета: «не отбирая экземпляров упомянутого словаря, дабы чрез то не возбудить любопытства, стараться откупить их партикулярным образом»[2]. А цензора А.Л. Крылова от увольнения спасло заступничество П.А. Шихматова.

В том же 1849 году в Петербурге опубликовано написанное Я. И. Ростовцевым[3] «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений». По словам А.Н. Никитенко, «основная мысль «наставления» та, что мы должны изобрести такую науку, которая уживалась бы с официальною властью, желающею располагать убеждениями и понятиями людей по-своему. Это уже не отрицательное намерение помешать науке посягать на существующий порядок вещей, но положительное усилие сделать из науки именно то, что нам угодно, то есть это чистое отрицание науки, которая потому именно и наука, что не знает других видов, кроме видов и законов человеческого разума»[4].

***

В 1850 году дошла очередь и до проявления заботы о «здоровом» чтении для простого народа. Внимание Комитета привлекло 11-е издание «Повести о приключениях английского милорда Георга и о Бранденбургской маркграфине Фредерике Луизе» Матвея Комарова[5]. Комитет обратил внимание на нескромные, эротические места и сделал вывод: успех этой книги «служит доказательством, что и низшие наши классы чувствуют уже вообще необходимость в чтении, которой желательно бы удовлетворять пищею более для них полезною». Министру просвещения предложено представить соображения, «каким образом умножить у нас издание и распространение в простом народе чтение книг, писанных языком, близким к его понятиям и быту и, под оболочкою романического или сказочного интереса, постоянно направляемых к утверждению наших простолюдинов в добрых нравах и в любви к православию, государю и порядку». Через месяц П.А. Шихматов подал царю пространный доклад о книгах для простолюдинов. По поводу «Георга…», министр писал: «подобного рода издания, погрешая (так!) иногда против приличий и благопристойности, не представляют однако безнравственного в целом содержании, не оставляют, по самой нелепости своей, в читателях сильных впечатлений и нисколько не опасны в руках простолюдинов»; хорошие книги в народном духе «ожидают еще своего Крылова». Всё же выходят отдельные полезные книги («Русская книга для грамотных людей», «Сельское чтение»). Но всего полезнее, по мнению Шихматова, «было бы для правительства поощрять чтение книг не гражданской, а церковной печати», так как первые, в большинстве случаев, – бесполезное или вредное занятие; а книги духовного содержания – гораздо предпочтительнее; надо издавать их в большом количестве

---

[1] Это стало одним из пунктов обвинительного акта в деле петрашевцев.

[2] Цит. по: Цензура в царствование императора Николая 1, ч. XIII // Русская старина, 1903. Т. 115. Август. С. 420, 421.

[3] В 1825 г. Яков Иванович Ростовцев донес царю о готовящемся заговоре декабристов; в 1835 г. – начальник военно-учебных заведений; в 1857 г. – член негласного Комитета по крестьянской реформе.

[4] Никитенко А.В. Дневник. В трех томах. Т. 1. 1826–1857. Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1955. С. 330.

[5] Этот лубочный текст XVIII в. благополучно дожил до века XX-го.

экземпляров и продавать по самой умеренной цене, Министр предлагал передать этот вопрос на обсуждение Синода. Царь одобрил предложение, но предложил выпускать и книги гражданской печати, «занимательного, но безвредного содержания», преимущественно для дворовых людей[1]. Одновременно Шихматов подал царю доклад о мерах «для ограждения России от преобладающего в чужих краях духа времени, враждебного монархическим началам, и от заразы коммунистических мнений, стремящихся к ниспровержению оснований гражданского общества». В этом докладе, помимо прочего, тоже идет речь о книгах для простого народа. Говорится о том, какими они должны быть. Перечисляется, чего не должно в них быть. 1. Ничего неблагонамеренного, неосторожного о православной церкви и правительстве. 2. Никаких описаний народных бедствий, нужд. 3. Ничего о семейных несогласиях. 4. Ничего о крепостных крестьянах, злоупотреблениях помещиков. 5. Не пропускать соблазнительные рассказы, неблагопристойные выражения, но допускать грубые, невинные шутки, соответствующие нравам и образу жизни читателей. Получив высочайшее утверждение, это перечисление вошло в общее распоряжение по цензурному ведомству от 21 апреля 1850г.[2].

23 мая 1850 г. П.А. Шихматов поднял перед Государственным советом вопрос о цензуре лубочных картинок. К решению этой нелегкой задачи подошли очень вдумчиво и основательно. 25 мая Департамент законов вынес решение, утвержденное общим собранием Государственного совета, о необходимости издания по этому делу специального закона. Почти полгода спустя. главноуправляющий II отделением императорской канцелярии гр. Д.Н. Блудов дал заключение: «вновь гравируемые картинки <…> должны быть рассматриваемы в цензурных комитетах <…> на общем основании». А ежели среди отпечатанных прежде встретятся картинки неподобающие, то «полиция обязана представить о том, через начальников губерний, министерству внутренних дел для приятия мер к их уничтожению»[3]. 12 февраля это заключение прошло утверждение Государственным советом. 12 марта мнение Государственного совета высочайше утверждено. То есть спустя год после начала этого предприятия. Московский генерал-губернатор А. А. Закревский, чтобы избежать долгих разбирательств, велел все медные доски, с которых печатались лубочные картинки, разрубить на мелкие куски и вернуть лом типографщикам.

В том же 1850 году негласный комитет потребовал от цензурного комитета сообщить, кто автор недавно вышедшей гадальной (так!) книги и почему он думает, что звезды оказывают влияние на судьбу людей. Ответ не лишен остроумия: «книгу эту напечатал новым (вероятно сотым) изданием, такой-то книгопродавец, а почему он думает, что звезды имеют влияние на судьбу людей, – комитету это неизвестно»[4].

В марте 1850-го в журнале «Москвитянин» напечатана комедия А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся». Она вызвала в Москве значительный шум. Комитет обратил на нее внимание. Особенно не понравился финал (порок не наказан). Прочитав журнал Комитета по поводу этой пьесы, Николай I согласился с высказанным мнением: «совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить»[5]. Шихматов, полагавший, что в самой пьесе нет ничего против правил цензуры, тем не менее, поручил попечителю Московского учебного округа «пригласить к себе автора комедии и вразумить его». Драматургу следовало объяснить необходимость противопоставления

---

[1] Цензура в царствование императора Николая I, ч. XIII // Русская старина, 1903. Т. 115. Август. С. 423-425.

[2] Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: тип. Морского министерства, 1862. С. 264-265.

[3] Лемке, Очерки, с. 261.

[4] Никитенко, с. 335.

[5] Цензура в царствование императора Николая 1, ч. XIII // Русская старина, 1903. Т. 115 Август. С. 426.

пороку добродетели, картинам смешного и преступного такие помыслы и деяния, которые возвышают душу. И вообще, цель таланта состоит не только в живом изображении смешного и дурного, но и в распространении высшего нравственного чувства. Да, давая пороку торжествовать, автор рисует его в таких черных и отвратительных красках, что он (порок) внушает омерзение, но впечатление комедия оставляет самое печальное, и поэтому ее не следовало печатать. А.Н. Островский, ошеломленный такой «проработкой», выразил через попечителя благодарность министру просвещения за замечания и советы. Он пообещал принять их в соображение в будущих своих произведениях, если почувствует «себя способным к продолжению начатого им литературного поприща»[1]. Только-только начал его, но после вразумлений подумывает о прекращении.

В середине 50-х годов, уже после смерти Николая I, пьеса вошла в первое двухтомное собрание сочинений А.Н. Островского с изменениями, сделанными по требованию цензуры, с новым финалом: появляется квартальный, сообщающий, что по предписанию начальства он должен передать Подхалюзина следственному приставу по делу о сокрытии имущества несостоятельного купца Большова. Добродетель торжествует. Порок наказан[2]. Островский же чувствует себя, как человек, которому велели самому себе отрубить руку или ногу.

Жесткой цензуре подвергся не только начинающий драматург. Характерны для этого периода истории с ректором Петербургского университета П.А. Плетневым, академиком Н. Г. Устряловым и поэтом В.А. Жуковским.

Петр Александрович Плетнев, человек в высшей степени благонамеренный, 8 февраля 1850 года выступил на университетском торжественном акте с отчетом о состоянии дел университета за прошедший год. Комитет обратил на него свое внимание. Точнее, на его 11-я часть, содержащую обобщающий взгляд на цель и назначение университетского образования. По мнению господ комитетчиков, выражения ее темны, отвлеченны, иногда неудобопонятны; в ней «более высокопарных фраз, нежели тех понятий и верований, которые мы привыкли считать заповедною нашей святынею; более стремления к эффекту, нежели тех русских, кровных наших идей, от охранения и беспрестанного распространения которых между новым поколением зависит благо и спокойствие нашей державы». А ведь на торжественном акте присутствовали студенты, которые в слове ректора могли искать выражения видов правительства, – ужасаются члены Комитета. Поэтому все сказанное должно быть предельно просто, ясно и не давать повода к превратным, произвольным толкованиям. Указали, что в речи не подчеркнута в достаточной степени важность православия, самодержавия, народности. То есть основные претензии не к тому, что сказано, а к тому, что не сказано, но непременно должно было прозвучать в речи ректора университета. Подробнейшим образом проанализировав в этом духе всю речь, Комитет делает убийственный вывод: «если бы в последних строках заключения отчета не было упомянуто, что направление всем нравственным и умственным действиям дается у нас по воле монарха, то вся XI статья отчета, по общему ее духу и содержанию, могла бы точно так же <…> произнесена быть с кафедры парижского университета в 1850 году»[3].

В итоге, «во исполнение высочайшего Его Императорского Величества повеления», было постановлено, чтобы «речи, произносимые при торжественных актах университетов и других высших и средних учебных заведений <…> прямо и положительно объясняли необходимость и пользу образования русского юношества на тройственной его основе

---

[1] Там же, с. 426-428.

[2] В этой редакции в первый раз пьеса была поставлена в январе 1861 г. в Александринском театре в Петербурге, а в первоначальном варианте лишь в 1881 г., на сцене частного театра в Москве.

[3] Цит. по: Лемке, Очерки, с. 265.

<…> а именно: на православии, самодержавии и народности»[1]. Постановление имело общий характер, но толчком для его появления послужил конкретный случай – одобренная Николаем оценка выступления П.А. Плетнева[2].

«Весьма благонамеренный и верноподданный» Николай Герасимович Устрялов, декан историко-филологического факультета Петербургского университета, негласный цензор исторических сочинений и актов, скрупулёзный и въедливый исследователь, автор множества книг по истории России попал в поле зрения Комитета из-за одной фразы. В его учебном пособии «Начертания русской истории для средних учебных заведений»[3] обнаружили неподобающее суждение о смерти царевича Дмитрия. Устрялов назвал её «странным событием, доселе еще не вполне разгаданным». Решили, что не следует «поселять в детских головах какое-либо сомнение о тех событиях, кои сопровождали смерть царевича <…>; самая же смерть его есть факт не только вполне разгаданный, но неоспоримый и освящённый нашей церковью». Император, как обычно, вполне согласен с оценкой Комитета: «Вполне справедливо». Устрялов написал пространное письмо министру Шихматову, уверяя того, что вовсе не имел в виду сомнительность мученической смерти царевича Дмитрия: «Но по долгу историка я считаю себя не вправе прямо и решительно обвинять в том Бориса Годунова»[4].

О последних сочинениях Василия Андреевича Жуковского высказался Л.В. Дубельт. 23 декабря 1850 года генерал подал в Главное правление цензуры свое мнение. Леонтий Васильевич отметил, что «его (Жуковского) сочинения духовные слишком жизненны и глубоки, политические – слишком развернуты, свежи, нам одновременны, чтобы можно было без опасения и вреда представить их чтению юной публики. Частое повторение слов *свобода, равенство, реформа,* частое возвращение к понятиям: *движение века вперед, вечные начала, единство народов, собственность есть кража* и тому подобным, останавливают на них внимание читателя и возбуждают деятельность рассудка. <…> Самое верное средство предостеречь от зла – удалять самое понятие о нем»[5].

Подверглись цензуре и сочинения императрицы Екатерины II. В 1802 и 1803 годах были напечатаны ее письма Вольтеру и доктору Циммерману. В письмах последнему нашли не так много предосудительных мест, исключив которые, позволено было переиздание. Письма же Вольтеру нашли наполненными неумеренными похвалами адресату и таким количеством острот по поводу религии, что «Государь Император Высочайше повелеть соизволил: не разрешать нового издания»[6].

***

В дневнике А.В. Никитенко за март 1850 г. сообщается о новых гонениях на философию: «Предположено преподавание её в университетах ограничить логикою и психологиею, поручив и то и другое духовным лицам». Министр просвещения (!) опирался в своем решении на то, что «польза философии не доказана, а вред от неё возможен»[7]. А в 1851 г. произошел скандал, вызванный публикацией[8] речи профессора

---

[1] Там же, с. 265.

[2] За месяц до этих событий (3 января 1850 г.), П .А. Плетнев жаловался В.А. Жуковскому: «Тайный цензурный комитет ввел в подозрительное положение все русские университеты, хотя в них и капли нет того, что бывает в заграничных. <…> Бутурлинский комитет и на меня подал государю донос, находя в моих лекциях и годичных отчетах смесь либеральных идей». – Цит. по: Лемке, Очерки, с. 265.

[3] Первое издание осуществлено в 1842, в 1850 г. учебник вышел седьмым (!) изданием.

[4] Цензура в царствование императора Николая I, ч. XIII // Русская старина, 1893. Т. 115. Август. С. 435.

[5] Петр Андреевич Вяземский. Старая записная книжка. М.: «Захаров», 2003. С. 546–547.

[6] Цит. по: Лемке, Очерки, с. 266, 277.

[7] Никитенко, с.334.

[8] Поскольку уже ходили слухи о «преобразовании» кафедр философии, начальство посчитало разумным отменить публичное чтение речи, но она была напечатана в Одессе в 1850 г.

Ришельевского лицея И.Г. Михневича[1] «Опыт простого изложения системы Шеллинга, рассматриваемый в связи с системами других германских философов». Комитет усомнился в уместности этой темы в лицее: «может ли быть полезно и благодетельно для умственного и нравственного образования юношества преподавать ему философию в таких отвлеченных и высокопарных фразах». Царь опять согласился: «Весьма справедливо; одна модная чепуха. Министру просвещения мне донести, отчего подобный вздор преподается в лицее, когда и в университетах мы его уничтожаем». Когда же стала известна фамилия автора, то Николай написал на докладе Комитета: «тем более должно обратить на него внимание, что он, по-видимому, поляк». Получился конфуз: Михневич оказался не поляком, а сыном православного священника, о чем и доложил царю министр народного просвещения. В своем докладе П.А. Шихматов прежде всего уверил государя-императора, что воля его об уничтожении кафедр философии в университетах и Ришельевском лицее исполнена в точности. Затем сообщил, что автор речи окончил Киевскую духовную академию, и его речь содержала критику Шеллинга с точки зрения учения православной церкви. Сам же он «во все время служения своего отличался преданностью престолу, благонамеренным образом мысли и особенным усердием» [2].

В своем дневнике А.В. Никитенко приводит множество фактов ужесточения цензуры не только касательно книг и журналов. Так, в декабре 1850 г. вышло постановление о чиновниках. Начальник получил право без всякого объяснения увольнять своего подчиненного за неблагонадежность или «за проступки, которых доказать нельзя». При этом никакие оправдания и объяснения не принимались. «Я читал всё постановление и не знал, чему больше удивляться: отсутствию в нем самой простой справедливости или здравого смысла»[3]. В гимназиях приказано «учить фронту», а для пристального надзора за изданием «всяких относящихся к учению и воспитанию книг» создано новое цензурное ведомство. В марте 1850 года в России существовало 12 разных цензурных ведомств. «Если сосчитать всех лиц, заведующих цензурою, их окажется больше, чем книг, печатаемых в течение года»[4]. Но многим и этого казалось мало: сообщали о поблажках писателям, требовали усиления цензурного контроля. Желая придать цензуре «более силы и действительного значения», председатель военно-цензурного комитета, барон А. С. Медем, направил Комитету свои соображения по этому поводу. Он предложил снабдить редакторов и цензоров крайне подробными инструкциями относительно их обязанностей. Цензорам же поручить «не только откидывать те выражения и мысли, которые признаны неудобными к печати, но изменять их и заменять своими собственными мыслями, проводя в представляемых им статьях взгляды и понятия, согласные с видами правительства»[5]. Комитет препроводил проект министру иностранных дел К.В. Нессельроде. Министр усомнился в возможности осуществить проект, как в части составления подробных инструкций, так и редактирования, поскольку «все это требует зрелости, верной точки зрения, наконец, истинной опытности – достоинств, которые весьма трудно найти в одном лице». При этом сам граф подробнейшим образом указал, о чем можно писать, о чем нельзя даже упоминать, в какой тональности должна быть написана политическая статья. В общем, полагает он, все должно быть просто: по возможности без особых рассуждений, с толикой эмоций (одобрение, негодование, усмешка), «как это делает иногда «Северная Пчела»[6]. А.В. Никитенко в отчаянии: «общество быстро погружается в варварство:

---

[1] Михневич Иосиф Григорьевич (1809–1885) – религиозный философ, историк философии, профессор философии в Ришельевском Лицее (1839–1850).

[2] Цензура в царствование императора Николая I, ч.XIV // Русская старина, 1903. Т. 115, кн. IX. Сентябрь. С. 652, 653.

[3] Никитенко, с. 338.

[4] Там же, с. 335.

[5] Лемке, Очерки, с. 269.

[6] Там же, с. 270.

спасай, кто может, свою душу!»[1]. Даже М.А. Корфа допекло. Он говорил брату, что всё делаемое «в негласном комитете, приводит его в омерзение и что он давно бежал бы оттуда, если б не надежда иногда что-нибудь устраивать в пользу преследуемых»[2]. Не верится в искренность этих слов, но появление их знаменательно.

В 1851 г. случилась презабавная история с освещением в печати московских гастролей французской танцовщицы. В «Северной пчеле» напечатано стихотворение «Отрывок из московской жизни на сырной неделе 1851 года», в котором, по мнению Комитета, «может статься, и справедливое, но весьма, однако ж резкое порицание всего московского населения, по случаю преувеличенного чествования Фанни Зйслер». Оплошали члены комитета. Прочитав журнал заседаний, Николай оставил в нем следующую запись: «Напечатано с моего дозволения, как полезный урок за дурачества части московских тунеядцев»[3].

О цензуре нот и говорить как-то неловко. Тем не менее, существовала и она. Распоряжение по Московскому Цензурному Комитету от 15 марта 1851 г. настолько анекдотично, что я приведу его полностью. «Имея в виду опасение, что под знаками нотными могут быть скрыты злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу, или что к мотивам церковным могут быть приспособлены слова простонародной песни, и наоборот, Главное Управление Цензуры, для предупреждения такого злоупотребления, предоставило Цензурному Комитету, в случаях сомнительных, поручать известным Комитету лицам, знающим музыку, предварительное рассмотрение музыкальных пьес и о вознаграждении их, по мере трудов, входить с особыми представлениями в конце года». В цензурных Комитетах должны быть рассматриваемы и «вновь гравируемые картинки, прежде выпуска их в свет» [4].

Не менее абсурдно и объяснение жесткого требования к редакторам и издателям журналов соблюдать заявленный ими объем издания. Было замечено, что редакторы «некоторых литературных журналов, как, например, "Библиотеки для чтения", "Отечественных записок" и "Современника" более заботятся об увеличении объема и разнородности помещаемых в их изданиях статей, нежели о литературном и ученом их достоинстве»[5]. Следственно, делает вывод Комитет, это дурно влияет на развитие науки и литературы, а авторов лишает возможности печатать свои труды отдельным изданием.

Почти полгода, с ноября 1851 по июнь 1852, длилась история с дешевой распродажей томов «Отечественных записок» за 1840, 1841, 1843 гг. Особое внимание обращено на №№ 1-3 за 1843 год, в которых опубликованы три статьи А.И. Герцена (имя которого вообще запрещено упоминать) из цикла «Дилетантизм в науке». Отдано распоряжение выкупать эти тома, а также изъять их из библиотек и направлять в распоряжение комитета 2 апреля. «Комитет же, следуя высочайшей воле, все получаемые экземпляры сжигал»[6].

В 1852 г. - цензурные придирки к изданию А.Д. Кантемира[7] и И.И. Хемницера. В сочинениях Кантемира найдены «сарказмы на духовенство, монашество и высший иерархический сан». Подобные же «неприличия» были обнаружены и в баснях Хемницера. П.А. Шихматов дважды докладывал Николаю I об этом деле. 11 марта

---

[1] Никитенко, с. 336.
[2] Там же, с.335.
[3] Цит. по: Лемке, Очерки, с. 275.
[4] Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: в тип. Морского министерства, 1862. С. 273.
[5] Цит. по: Лемке, Очерки, с. 276.
[6] Цензура в царствование императора Николая I, ч. XIV // Русская Старина, 1903. Т. 115, кн. IX. Сентябрь. С. 654-655.
[7] В 1857 году, уже при Александре II, история повторилась: сочинения Кантемира было запрещено переиздавать по цензурным соображениям.

последовала высочайшая резолюция: «по моему мнению, сочинений Кантемира ни в каком отношении нет пользы перепечатывать, пусть себе пылятся и гниют в задних шкафах библиотек, где занимают лишнее место»[1]. И этим не ограничились. Подошли к делу по-государственному, спроецировав конкретный случай на проблему в целом: цензурным учреждениям велено было «каждый раз при поступлении для одобрения к новому изданию полных собраний сочинений известных наших писателей», представлять их «на усмотрение Главного управления цензуры, с своим заключением и с присовокуплением выписок сомнительных мест, если они встретятся»[2].

Смерть Н.В. Гоголя. И.С. Тургенев за статью о нем, напечатанную в «Московских ведомостях», где называл Гоголя «великим», арестован и сослан в деревню под надзор полиции. М.П. Погодин также отдан под надзор полиции. Он провинился дважды: во-первых, напечатал в «Москвитянине» «неправильную» статью о пьесе Нестора Кукольника «Денщик». Во-вторых, «выпустил V номер своего журнала с черным бордюром на обложке по случаю смерти Гоголя»[3]. Председатель цензурного комитета назвал Гоголя «лакейским писателем» и объявил, что не будет пропускать статей в его похвалу.

***

Особенный резонанс в 1852 году получила история со славянофильским «Московским сборником». Издание его финансировал А.И. Кошелев. Редактировал сборник И. С. Аксаков. Участвовали в нем братья Киреевские, братья Аксаковы, А. С. Хомяков, А.И. Кошелев, С.М. Соловьев, И.Д. Беляев, князь В.А. Черкасский, Д. О. Шеппинг. А.Н. Попов. Цензор – князь В.В. Львов. 21 апреля 1852 года поступил в продажу первый том сборника. В течение месяца были раскуплены 750 экземпляров. Уже 28 апреля Никитенко записал в Дневнике: «В Москве опять переполох. Там издан сборник Хомяковым, Киреевским и Аксаковым, в котором, говорят, напечатаны очень сильные вещи. <…> О сборнике уже много толкуют в публике. Тучи собираются, быть грозе». Спустя две недели: «Третье отделение и негласный комитет уже поднимают тревогу по поводу "Московского сборника". <…> министр уже сделал строгий выговор цензору, князю Львову»[4]. 4 июня председатель Комитета Н.Н. Анненков в письме П.А. Шихматову назвал сборник «зловредным альманахом», в котором помещены неприличные насмешки над обществом. В первую очередь внимание привлекли имена издателя и авторов. За каждым из них водились грешки. Так, в 1849 году, Иван Аксаков неожиданно для всех, «вдруг», был арестован и посажен на гауптвахту. Подозрение вызывали его дружеские связи, неосторожные высказывания, в том числе в письмах. Поговаривали, за него заступился царь, сказавший начальнику III Отделения, А.Ф. Орлову: «Призови, прочти, вразуми, отпусти!». Вразумили и отправили в Ярославскую губернию, установив тайный полицейский надзор. Вскоре он вышел в отставку, с радостью откликнулся на предложение Кошелева участвовать в издании «Московского сборника», став его редактором, фактическим издателем и одним из авторов. Смысл направления сборника был им сформулирован точно и лаконично: «сочувствие к народности». Открывала это, по собственным словам И. Аксакова, «строгое» и «серьезное» издание, его статья «Несколько слов о Гоголе» По мнению князя Шихматова, статья эта «неясна и загадочна по отрывистым намекам и мыслям недоконченным»[5] .

---

[1] Цит. по: Никитенко, с. 525-526 (комментарии).
[2] Сборник постановлений, с. 281-282.
[3] Никитенко, с. 350.
[4] Там же,с. 352.
[5] Барсуков, т.12, с. 112.

И.В. Киреевский еще со времени запрещения его журнала «Европеец», случившееся в 1832 (!) году имел репутацию неблагомысленного и неблагонадежного. Он отдал в «Московский сборник» статью «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России (Письмо к гр. Е.Е. Комаровскому)». Внимательным читателям из Комитета она живо напомнила другую статью автора: «Девятнадцатый век», ставшую одной из причин «смерти» «Европейца». Вместе с тем, многие нашли, что написана она вполне в духе правительства и потому «бросает тень на Сборник»[1]. Но П.А. Ширинский-Шихматов посчитал, что вовсе не в духе правительства, поскольку автор «не отдает должной справедливости бессмертным заслугам великого преобразователя России и державных его преемников»[2].

В тройку «лидеров» по количеству замечаний вошел К.С. Аксаков со статьей «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности (по поводу мнений о родовом быте)». Совсем недавно, в декабре 1851 года, после премьеры в Московском Малом театре, была запрещена его драма «Освобождение Москвы в 1612 году» (1848 г.). Теперь он опять дал повод для недовольства. В статье, конечно, не все дурно. Например, из статьи становится ясно, чего «ожидать должно от своевольства и безначалия». Признали это полезным. Одобрили рассуждение о постепенном возникновении в жизни русского народа «именно начала единовластия и неограниченного самодержавия». Но Аксаков, к сожалению, «подробно не остановившись на последнем, создал талантливую, но не дорисованную картину». И Комитет ее дорисовал, дав краткий обзор русской самодержавной власти от Иоанна III-го до Петра I. Подробно и любовно – о завершении смутного времени призывом на царствование Михаила Федоровича. Ведь именно тогда было дано клятвенное обещание русского народа служить царю, супруге его, детям и потомству «"верою и правдою, всеми душами своими и головами" без всякого ограничения, – акт всенародный и торжественный, которым окончательно запечатлелось самодержавное единовластие русских монархов, утвержденное потом могучею рукою Петра Великого на началах европейской государственной жизни»[3]. Комитет отдал справедливость ученым исследованиям автора и уверил, что вовсе не предполагает в нём предосудительной цели, но считает разумным помещение подобных статей среди трудов ученых и археологических. Литературный же сборник предназначен для широкой публики, и среди читателей всегда найдутся люди, готовые истолковать все им предлагаемое, при малейшем признаке двусмысленности, в дурную сторону[4]. Недовольство высокого начальства было существенным, но не повлекло за собой запрещения издания. «Высшая цензура страшно взволновалась, однако не решилась арестовать уже выпущенную с одобрения цензуры первую книгу "Сборника"; но предписано было Московскому цензурному комитету препроводить в Петербург все статьи, представленные для 2-й книги»[5]. Как обычно, решение коснулось не только конкретных авторов. Распоряжением от 20 июля 1852 года «на представляемые к одобрению, для издания в свет, сочинения в духе Славянофилов должно быть обращено особенное и строжайшее внимание со стороны цензуры»[6]. И это не всё. Поскольку предполагалось издать серию, возник вопрос о правилах прохождения цензуры подобных изданий. Если они по факту являются периодическими, не следует ли их приравнять к журналам и газетам, разрешаемых только лично царем. И вновь на журнале заседаний Комитета появилась одобрительная резолюция Николая: «всё справедливо; и сборники

---

[1] Об этом И. Аксаков писал отцу 27 апреля 1852 г.

[2] Барсуков, т.12, с. 114.

[3] Цит. по: Лемке, Очерки, с. 285.

[4] Барсуков, т.12, с. 119.

[5] Записки Александра Ивановича Кошелева (1812-1883 годы). М.: «Наука», 2002 (серия «Литературные памятники»). С. 57.

[6] Сборник постановлений, с.282.

впредь подчинить тем же цензурным правилам, как и журналы»[1]. Учитывая все эти обстоятельства, нечего было и надеяться на удачное продолжение затеянного предприятия. Тем не менее, 1 августа 1852 г. И. С. Аксаков сдал в Московский цензурный комитет рукопись II, а также программу III и IV томов «Московского сборника» .

Шеф жандармов и главный начальник III Отделения князь А.Ф. Орлов, естественно, тут же озаботился благонадежностью авторов и их произведений: во II томе «Московского сборника» он обнаружил «некоторые статьи вредного политического содержания»[2].

В.И. Назимов, как и надлежит попечителю Московского учебного округа и главе Московского цензурного комитета, обратил внимание на то, что «во всех почти статьях, за исключением немногих, заметно какое-то недовольство настоящим нашим образованием, нравственностию, образом жизни и даже учреждениями правительства и высказывается стремление выставить наш древний русский быт в преувеличенно-лучшем виде, как заслуживающий безусловного во всех отношениях одобрения и подражания»[3].

Кратко остановимся на нескольких статьях и основных к ним претензиях со стороны многочисленных цензоров.

А.С. Хомяков, автор статьи «Несколько слов по поводу статьи г. Киреевского, помещенной в 1-м томе «Московского сборника» «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению в России», был обвинен в «крайне неосторожном прикосновении к основным правительственным и религиозным началам России», что непозволительно для частного человека[4].

В статье кн. В. А. Черкасского «О подвижности народонаселения в древней России» П.А. Шихматов обнаружил «более или менее неосторожное прикосновение к одному из основных понятий нашего государственного быта. Представляя крепостное право в виде насильственного порабощения крестьян, она не может быть выпущена в свет»[5].

В основе статьи К.С. Аксакова «Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням»[6] – былины и песни, вошедшие в «Сборник» Кирши Данилова. Фактически, автор статьи пересказывает, цитирует и комментирует эти тексты. Отмечая, что речь идет не о реальном мире, а сказочном отражении его в народных песнях, Аксаков говорит, в основном, о богатырях двора князя Владимира. О самом Владимире – не так много. Владимир – радушный, гостеприимный хозяин. Он ласковый, добродушный, приветливый. Но при всех своих положительных качествах, Владимир не наделен богатырской силой, решительностью, храбростью; он часто смущается, пугается, не знает, что делать при наступлении беды. Князь способен на безнравственные поступки, а его жена изображается влюбчивой и сластолюбивой. Но, что очень важно, Владимир – именно христианский православный правитель. «Праздник, пир — составляет колорит Владимировых песен; но этот пир, как и вся жизнь, имеет христианскую основу. Христианство есть главная основа всего Владимирова мира. На этой-то христианской основе является богатырская сила и удаль молодого, могучего народа»[7]. Еще одна значимая для понимания настороженности цензоров цитата из статьи: «Отношения богатырей к великому князю почтительны, но неподобострастны; они вольно собрались вокруг него, зовут его красным солнцем, солнцем киевским, охотно служат ему службы; но ни в чем не выражается униженное или придворное их отношение к великому князю»[8].

---

[1]Лемке, Очерки, с. 286.

[2] Барсуков, т.12, С. 135.

[3] Там же, с. 135.

[4] Цит. по: Бадалян Д. А. Русская идея и российская цензура (к истории двух статей А. С. Хомякова) // У мысли стоя на часах...: цензоры России и цензура. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 192.

[5] Барсуков, т.12, с. 143.

[6] Статья была опубликована с цензурными сокращениями. См.: «Русская беседа», 1856. Кн. 4. Науки. С. 1–67.

[7] Литературная критика / Сост., вступит. статья и коммент. А. С. Курилова. М.: Современник, 1981. С. 94 .

[8] Там же, С. 95.

Вероятно, и эти слова дали повод Л.В. Дубельту утверждать, что «рукопись бесполезная, отчасти бессмысленная, а между тем общее ее направление состоит в том, чтобы выказать прелесть бывшей вольности»[1].

В итоге второй том «Московского сборника» не вышел. Как и остальные планируемые тома. Мало того, были сделаны выводы относительно собственно славянофильства. Так, 3 января 1853 г. Л.В. Дубельт писал А.С. Норову: «Московские славянофилы смешивают приверженность свою к русской старине с такими началами, которые не могут существовать в монархическом государстве, и, явно не доброжелательствуя нынешнему порядку вещей, в заблуждении мыслей своих беспрерывно желают оттолкнуть наше отечество ко временам равноапостольного князя Владимира»[2]. А князь А.Ф. Орлов, как и должно государственному человек его масштаба, посчитал, что «случай этот вновь побуждает иметь особенный секретный надзор как за изданием упомянутого Сборника, так и вообще за славянофилами и их сочинениями»[3]. Наконец, приведено было в исполнение решение по всеподданнейшему докладу П.А. Шихматова от 3 марта 1853 г.: 1. II-й том «Московского сборника» запретить; 2. прекратить издание этого сборника; 3. редактора его, И.С. Аксакова, лишить права редактировать какие-либо издания; 4. участникам сборника братьям Аксаковым, Хомякову, И. Киреевскому и кн.Черкасскому «сделав наистрожайшее внушение за желание распространять нелепые и вредные понятия, приказать представлять свои рукописи впредь прямо в Главное управление цензуры»[4]. Не осталось в стороне и III отделение: за вышеперечисленными пятью славянофилами, «как людьми открыто неблагонамеренными», был установлен явный полицейский надзор, а сочувствовавший им цензор В. В. Львов вынужден был выйти в отставку. Многие считали, что дело о «Московском сборнике» раздуто министром просвещения П.А. Ширинским-Шихматовым и III Отделением. Думается, оно было создано и развивалось в общем русле цензурной политики того времени.

Поражает всеядность и дотошность цензуры. С растянутыми на месяцы разбирательствами по поводу серьезных изданий соседствуют мелочные придирки по пустому поводу. Так, в «Санкт-Петербургских Ведомостях» сообщили о новом парижском танце «La Mazepra». Шихматов посчитал недопустимым само упоминание Мазепы в российской газете. «Министру показалось, что тут скрывается насмешка над Россией. Он позвал к себе бедного Очкина и сделал ему строжайший выговор с угрозой отдать под суд»[5]. До суда дело не дошло, но строгие выговоры были сделаны как редактору «Ведомостей» А.Н. Очкину, так и цензору Н.И. Пейкеру.

Всеобщее недовольство состоянием цензуры привело к тому, что сам Комитет сообщил П.А. Ширинскому- Шихматову о слухах в публике по поводу цензоров, которые идут «гораздо далее видов властей», и выражает надежду, что «бдительность высшего правительства, направленная единственно против истинно предосудительного или неблагонамеренного, отнюдь не будет принимаема цензорами за повод к действиям стеснительным и произвольным»[6]. Недоумевающий по поводу обвинения в излишней строгости министр просвещения Шихматов сообщил цензорам о письме Комитета. В своем ответе Попечитель Петербургского округа М.Н. Мусин-Пушкин просит Шихматова «довести до сведения государя императора, что никто из цензоров не действовал и не

---

[1]Цит. по: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. В 2 тт. СПб., 1889. Т. 2, с. 479.

[2] Барсуков, т.12, 145.

[3] Барсуков, т.12, С. 135.

[4] Цит. по: Лемке, Очерки, с. 286.

[5] Никитенко, с. 344.

[6] Цит. по: Лемке, Очерки, с. 287.

действует стеснительно или произвольно». Слухи же распускают «люди вредные, ищущие средств ослабить благонамеренное и весьма полезное действие цензуры <…> или люди легковерные и неосновательные, которые привыкли осуждать без размышления или исследования, каждую меру, правительством предписываемую»[1]. Шихматов до сведения императора ничего доводить не стал, прекрасно зная истинное положение вещей. В ситуации, когда Николаей I одобрял все (или почти все) решения Комитета, вступать в полемику не только не имело смысла, но и было просто опасно.

Далее события развивались в том же духе. 25 февраля 1853 года А.В. Никитенко записал в «Дневнике»: «Действия цензуры превосходят всякое вероятие. Чего этим хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? Но ведь это все равно, что велеть реке плыть обратно». Далее он приводит ряд анекдотических примеров: «цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи помещен ряд точек (так обычно обозначались строки, удалённые по требованию цензора – ПР). Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики. Цензор Елагин не пропустил в одной географической статье места, где говорится, что в Сибири ездят на собаках» и требовал подтверждения Министерства внутренних дел. Все нелепости цензоры сваливают на негласный комитет, «ссылаясь на него, как на пугало, которое грозит наказанием за каждое напечатанное слово» [2]. Немудрено, что многие литераторы посчитали разумным переждать лихие времена. В.И. Даль после «оскопления» его «Месяцеслова», присланного для «Москвитянина», писал М.П. Погодину: «У меня лежит до сотни повестушек, но пусть гниют. Спокойно спать: и не соблазняйте… Времена шатки, береги шапки!»[3]. Безобидный А.Н. Майков опасался печатать свои стихи. Литературный критик, издатель «Библиотеки для чтения» О.И. Сенковский как раз в это время (1852-1855гг.) решает заняться производством и продажей табака. Своему приятелю, литератору и редактору Ведомостей Санкт-Петербургской полиции П. Р. Фурману он объяснил это перемену в своей жизни: «Пейкер (цензор "Библиотеки для чтения") запрещал всё, что я ни напишу – ну решительно всё; не оставалось более ничего делать, как обратиться от литературы к промышленности, и я записался в купцы – открыл табачную лавочку и фабрику»[4]. Почти на 10 лет сменил род деятельности и М.М. Достоевский. Хорошо его знавший Н.Н. Страхов писал, что табачная «фабрика заведена была им после 1849 года (в 1852 г.), когда литература была в очень стесненном положении»[5].

***

В 1853 г. почти одновременно покидают свой пост председатель комитета 2 апреля и министр просвещения. В марте Н.Н. Анненков становится Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором. Исполнять его обязанности председателя Комитета назначен М. А. Корф, давно этого ждавший. Когда в отпуск для лечения ушёл П.А. Шихматов, Министерство просвещения возглавил А. С. Норов[6], который с 1850 года был товарищем министра.

---

[1] Цензура в царствование императора Николая I, ч. XIV // Русская старина, 1903. Т. 115, кн. IX. Сентябрь. С. 658-659.

[2] Никитенко, с. 362-363.

[3] Барсуков, т. XI, с.365.

[4] Сенковский О. И. Письма его к Фурманну // Русская старина, 1871. Т. 3, кн. IV. Апрель. С. 529.

[5] Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1883. С. 223.

[6] А.С. Норов утвержден в должности в апреле 1854 г. Он – фигура переходная, стоящая в преддверии нового царствования. Оставался министром и в первые годы царствования Александра II. В марте 1858 г. был отставлен от должности с благодарностью «за благие и чистые его намерения».

> Авраам Сергеевич Норов (1795-186.) – участник Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении был тяжело ранен. С 1823 г. – на гражданской службе: в Министерстве внутренних дел, в Комиссии принятия прошений на высочайшее имя, в Министерстве просвещения. Много путешествовал – по Западной Европе, Египту и Нубии, дважды совершал поездки в Палестину. Каждое путешествие завершалось написанием умных и дельных книг. Член Российской академии, С 1851 г.– действительный член Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук по отделению русского языка и словесности, Председатель Археографической комиссии, член Русского географического общества. Собрал одну из лучших и богатейших библиотек в России[1].

«Человек гуманный и просвещенный, но не обладавший твердым характером и легко поддающийся посторонним мнениям, А.С. Норов понимал необходимость вывести вверенное ему министерство из тех крайне стеснительных условий, в какие оно было поставлено при его предшественнике, восстановить нормальное течение учебной жизни»[2]. По мнению Петра Андреевича Вяземского, ставшего вскоре товарищем министра, «Норов очень благонамеренный человек, любит и понимает просвещение и довольно настойчив и тверд в своем направлении. Он, может быть, не имеет блестящих способностей Уварова, но имеет гораздо более любви и теплоты, чище и благороднее душой»[3]. Много о Норове пишет А.В. Никитенко, один из ближайших сотрудников нового министра. На страницах его дневника – бесконечное упоминание встреч с Норовым. Они сходятся во мнении, что необходимо составить подробную инструкцию для цензоров, чтобы те знали, чего держаться и «чтобы обуздать их произвол, часто невежественный и эгоистичный». Обсуждают подготовку личного доклада министра царю, его окончательный текст. Одинаково переживают одобрение Николая I. Никитенко растроган благодарными объятиями Норова (последний обнимается и горячо одобряет его начинания довольно часто). В середине декабря 1853 г. А.В. Никитенко подготовил записку о слиянии комитета 2 апреля с главным управлением цензуры. Записку, естественно, должен был представить А.С. Норов. «Это смелый шаг. Комитет делает много зла». Осторожный министр решил «предварительно показать записку графу Д. Н. Блудову, который тоже весьма не одобряет действий комитета»[4]. На страницах своего дневника Никитенко постоянно говорит о прекрасных человеческих качествах Норова. О своих надеждах на перемены, которые станут возможными благодаря действиям министра. Но вот как раз со способностью к действиям дело у Норова обстояло неважно. У него был весьма существенный для государственного человека, да и не только государственного, недостаток: нерешительность. 9 мая 1854 года, спустя месяц после утверждения Норова в должности министра, Никитенко записал в своем Дневнике: «Я вполне сознаю шаткость моего положения при министре. А, следовательно, и нашего с ним дела. Боюсь, чтоб большинство наших надежд не рассеялись дымом. Характер его мне известен. Он благомыслящ, просвещен, гуманен, но слаб»[5]. Через 10 дней еще одна запись, в которой – подтверждение опасений относительно Норова: «Надежды на улучшение цензуры меркнут. Сегодня я начал говорить министру о ее злоупотреблениях и бессмыслии. Но он обнаружил такое равнодушие, что мне даже стало досадно»[6].

---

[1] А.С. Пушкин был хорошо знаком с А.С. Норовым, неоднократно с ним встречался, во время работы над «Историей Пугачевского бунта» пользовался его библиотекой. – См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л.: «Наука», 1989. С. 297.

[2] Рождественский С. В. // Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения : 1802–1902 / Сост. С.В. Рождественский. СПб. : М-во нар. просв., 1902. С. 341.

[3] Пётр Андреевич Вяземский. Старая записная книжка. М.: «Захаров», 2003. С. 870.

[4] Никитенко, с. 377.

[5] Там же, с. 382.

[6] Там же, с. 383.

По отношению к Комитету 2 апреля А.С. Норов, как и П.А. Шихматов, ведет себя предупредительно и осторожно (никаких столкновений). В 1854 году становится его членом. Не агрессивен, в самодурстве не замечен, но никому от этого не легче. В целом картина остается прежней.

Громких дел по части цензуры ни в 1853, ни в 1854 гг. не было. То ли А.С. Норов и М.А. Корф были умнее своих предшественников, то ли верховному цензору было не до того: Крымская война занимала его, конечно же, гораздо больше. Но придирки, цензурные запрещения и, конечно же, нелепости по-прежнему присутствовали. Так, в цензурный комитет была представлена книга С.Н. Смарагдова[1]. Председатель комитета для рассмотрения учебных руководств И.И. Давыдов (мы уже с ним встречались) «потребовал исключения из книги всего, что касается Магомета, так как тот был "негодяй и основатель ложной религии". Члены комитета изумились; профессор А.А. Фишер спросил, чего же хочет господин председатель, "чтобы учащиеся истории не знали того, что происходило на свете? Тогда для чего же и история? <…> Неужели наука в том, чтобы заведомо распространять ложь?"»[2]. В итоге, Давыдов вынужден был снять свое предложение. Одна дама хотела издать в Москве сборник статей, подаренных ей знакомыми учеными. Так как сравнительно недавно, по представлению Шихматова, царь повелел «сборники впредь подчинить тем же цензурным правилам, как и журналы»[3], надо было испрашивать высочайшего разрешения. «И без того много печатается», — ответил на просьбу Николай, привыкший повторять в различных вариантах эту формулу.

В начале 1854 года Норов подал Николаю I « весьма важный для нашей литературы доклад», составленный А.В. Никитенко. Было предложено представлять раз в 4 месяца «ведомость о лучших русских сочинениях, и даже переводных, с кратким изложением их содержания и с указанием их достоинств, чтобы государь видел, что в нашем умственном мире не одни гадости творятся, как ему постоянно доносит пресловутый комитет 2 апреля»[4]. Почти полгода спустя такой список был составлен. С января по октябрь «наскребли» только 16 сочинений. Не больно густо. А.В. Никитенко: «у нас вовсе не выходит никаких книг, а как и сборники запрещены, то литература наша в полном застое. Только и есть, что журналы <…>. Но и в них большею частью печатаются жалкие, бесцветные вещи».

В октябре 1954 года А.В. Никитенко выплеснул на страницы Дневника своё отчаяние: «Что сделалось с Авраамом Сергеевичем? Не понимаю! Он поступает с цензурой чуть не хуже, чем его робкий и неспособный предшественник. На него напал какой-то панический страх. Он привязывается к самым невинным фразам». Отчаяние сменяется надеждой. В конце 1854 года, 20 декабря, А.С. Норов передал императору Записку о цензуре. В этой записке изложено «самое важное из настоящих дел то, которое касается цензуры, то есть *уничтожения негласного комитета*, а с ним вместе и большинства цензурных бедствий и нелепостей. Задача в том, чтобы ввести цензуру в рамки, где не было бы места произволу людей недобросовестных и невежественных, которые теперь располагают ею ко вреду просвещения». Николай «оставил её у себя с замечанием: "Дай мне это самому прочесть и обдумать"». На самом деле, времени на чтение и обдумывание у него оставалось не так много.

Завершим обзор состояния цензуры этого периода словами профессора Александра Васильевича Никитенко, ставшими своеобразной эпитафией государю-императору

---

[1] Возможно, речь идет об учебнике С.Н. Смарагдова «Краткое начертание всеобщей истории для первоначальных училищ», изданном впервые в 1845г. Пятое издание было осуществлено в 1855г.

[2] Никитенко, с.394.

[3] Это правило действовало до 1856 г. По докладной записке министра просвещения А.С. Норова, 11 апреля 1856 г. последовало высочайшее повеление Главному управлению цензуры самому решать этот вопрос, при условии, что сборник издаётся 1 раз в году. – См.: Сборник постановлений, ст. 309.

[4] Никитенко, с. 379.

Николаю I Благословенному и его царствованию: «Для России, очевидно, наступает новая эпоха. Император умер, да здравствует император! Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца. Новая страница перевертывается в ней рукою времени: какие события занесет в нее новая царственная рука, какие надежды осуществит она?..»[1].

[1]Никитенко, с. 385, 386, 392, 395, 403.

Список литературы[1]

Документы

- Дела III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб.: тип. М.П.С., 1906.
- Министерство внутренних дел, 1802-1902. Исторический очерк. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, 1902.
- Проект устава о книгопечатании. СПб.: тип. Имп. АН, 1862.
- Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения: 1802-1902 / Сост. С.В. Рождественский. СПб.: Мин-во народн. просв., 1902.
- Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: тип. Морского министерства, 1862.

Летописи, справочники

- Лернер Н.О. А. С. Пушкин. Труды и дни. Хронологические данные, собранные Николаем Лернером. М.: «Скорпион», 1903.
- Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. В 4-х тт. / сост. Н. А. Тархова. М.: «Слово», 1999.
- Мезьер А. В. Словарь русских цензоров: материалы к библиографии по истории русской цензуры / предисл., примеч. Т. Г. Паршина и др. М.: ГПИБ, 2000.
- Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. Л.: «Наука», 1991.
- Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Изд. 2-ое. Л.: «Наука», 1989.

Мемуары, письма, воспоминания, дневники

- Аксаков К. С. «Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням» // Литературная критика / Сост., вступит. статья и коммент. А. С. Курилова. М.: «Современник», 1981.
- Бенкендорф А. Х. Выписки из писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I-му о Пушкине. Изд. в переводе граф. Ек. П. Шереметевой, с пред. и примеч. Николая Барсукова . СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1903.
- Блудова А. Д. Воспоминания графини Антонины Дмитриевны Блудовой, глава V // Русский Архив, 1874. Кн. 1. № 4. Ст. 833–883.
- Булгарин Ф. В. Видок Фиглярин: письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Изд. подг. А. И. Рейтблат. М.: Литературное обозрение, 1998.
- Бутурлин М. Д. Записки графа М. Д. Бутурлина: воспоминания, автобиография, исторические современные мне события и слышанные от старожилов, впечатления, артистические сведения, литературные заметки и фамильная летопись. В 2-х тт. / науч. ред. М. А. Полякова. М.: «Любимая книга», 2006. Т. 1.
- Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников //Вересаев В. В. Сочинения в 4-х тт. М.: «Правда», 1990. Тт. 2, 3.
- Веселовский К. Отголоски старой памяти // Русская старина, 1899. Т. 100, кн. X. Октябрь.
- Вигель Ф. Ф. Записки. В 2 кн. М.: «Захаров», 2003.

---

[1] В список литературы включены цитируемые либо упоминаемые в тексте источники. При цитировании сохранен синтаксис и (частично) орфография источника.

- Волконский С. Г. Записки. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1991.
- Вяземский П. А. Старая записная книжка. М.: «Захаров», 2003.
- Вяземский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М.: «Правда», 1988.
- Гагерн Ф. Б. Россия и русский двор в 1839 г. Записки // Русская старина. 1891. Т. 69. Кн. I. Январь. С. 1–38.
- Гоголь Н. В. Переписка Н. В. Гоголя. В 2-х тт. М.: «Художественная литература», 1988. Т. 2.
- Голицын А. Н. Рассказы князя А. Н. Голицына. Из записок Ю. Н. Бартенева // Русский архив, 1886. Кн. 3, вып. 6. С.305–333.
- Каратыгин П. Бенкендорф и Дубельт // Исторический вестник. 1887. Т. XXX.
- Корф М. А. Барон Модест Корф. Записки. М.: «Захаров», 2003.
- Кошелев А. И. Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы). М.: «Наука», 2002 (серия «Литературные памятники»).
- Никитенко А. В. Дневник в трех томах. Том 1 (1826–1857). Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1955.
- Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М.: «Правда», 1986.
- Письма Пушкина и к Пушкину. Новые материалы, собранные книгоиздательством «Скорпион» / Ред. и примеч. Валерия Брюсова. М., 1903.
- Плетнев П. А. Сочинения и переписка П. А. Плетнева. В 3-х тт. / Изд. и предисловие Я. Грота. СПб.: тип. Имп. АН, 1885. Т. III.
- Путята Н. В. Из записной книжки // Русский Архив, 1899. Вып. 6. Июнь.
- Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х тт. М.: «Художественная литература», 1974.
- Пушкин в воспоминаниях современников. Л.: Гос. изд. художественной литературы, 1950.
- Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах/ Вступит. статья и примеч. М. А. Цявловского. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925.
- Смирнова-Россет А. О. Дневники. Воспоминания. М.: «Наука», 1989.
- Стоюнин В. Я. Осип Иванович Сенковский. Письма его к Фурманну // Русская старина. 1871. Т. 3. Кн. IV. Апрель. С. 528–529.
- Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском //Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского: с порт. Ф. М. Достоевского и приложениями. СПб.: тип. А. С. Суворина, 1883. С. 169–329.
- Тургенев А. И. Политическая проза. М.: «Советская Россия», 1989.
- Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.: «Современник», 1989.

Исследования и комментарии

- Альтшуллер М. Г. Между двух царей. Пушкин 1824–1836. СПб.: «Академический проект», 2003.
- *Альтшуллер М. Г.* Пушкин, Булгарин, Николай I и сэр Вальтер Скотт // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В.Э. Вацуро. М.: Новое Литературное обозрение, 1995 – 1996. С. 284–302.
- Аринштейн Л. М. Пушкин. Непричесанная биография. Изд. 4-ое. М.: Российский фонд культуры, 2007.
- Аринштейн Л. М. Пушкин: «Видел я трех Царей…». М.: Изд. Дом «Муравей», 1999.
- Бадалян Д. А. Русская идея и российская цензура (к истории двух статей А. С. Хомякова) // У мысли стоя на часах...: Цензоры России и цензура // Под ред. Г. В. Жиркова. СПб.: изд-во СПбГУ, 2000. С. 176–200.

- Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. В 22 тт. СПб., 1888 –1910. СПб.: тип. М. Стасюлевича. – Кн. IX, 1895. Кн. X, 1896. Кн. XI, 1897. Кн. XII, 1898.
- Бартенев П. И. О Пушкине. М.: «Советская Россия», 1992.
- Бельчиков Н. Ф. Пушкин и Гнедич. История послания 1832 г. // Пушкин / Ред. Н. К. Пиксанов. Сб. 1. М.: Гос. изд-во, 1924. С. 179–213.
- Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). М.: «Советский писатель», 1967.
- Брюсова В. Я. Гавриилиада. Полный текст / Вступительная статья и критические примечания В. Я. Брюсова. Изд. 2-е. М.: «Альциона», 1918.
- Брюсов В. Я. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения/ Редакция Н. К. Пиксанова. М.-Л.: Гос. изд-во, 1929.
- Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М.: «Книга», 1986.
- Вацуро В. Э. Поэтический манифест Пушкина // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб.: «Академический проект», 1994. С. 17–29.
- Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х тт. М.: Художественная литература, 1974. Т. 1.
- Вацуро В. Э. L'Universalité de Pouchkine. Bibliothèque russe de l`Institut d'études slaves.T. CIV (Paris 2000).
- Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М.: «Языки русской культуры», 1998.
- Вольперт Л. И. «Семь дней в Дерпте» // Беллетристическая пушкиниана XIX – XXI веков. Современная наука – вузу и школе. Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова, 2004. С. 415 – 442.
- Вольперт Л. И. *Бессмысленный* и *беспощадный*» (Пушкин и Жермена де Сталь о фанатизме*) //* Studia russica helsingiensia et tartuensia. VIII. *История* и *историософия* в *литературном преломлении. Тарту, 2002. С. 37–56.*
- Вольперт Л. И. Пушкин и европейское мышление (Книга А. Токвиля «О демократии в Америке») // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. IV (Новая серия). Тарту, 2001. С. 109–125.
- Вольперт Л. И. Вместо послесловия к пьесе «Семь дней в Дерпте». Решился ли бы Пушкин на побег за границу?». – http://www.ruthenia.ru/volpert/play/kats.htm (дата обращения 29.10.2023).
- Воропаев В. А. Поэт и Царь. Гоголь о монархизме Пушкина // Пушкин и Крым. IX Крымские Пушкинские международные чтения. Крым, Гурзуф, 18–21 сент. 1999 г. Симферополь, 2000. С. 19–20.
- Гершензон М. Чаадаев и Пушкин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 6 тт. / под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Изд. Брокгауз-Ефрон, 1901–1915. Т. 6. Пг., 1915. С. 258–265.
- Городецкий П. К истории статьи Пушкина «Несколько слов о мизинце г.Булгарина и о прочем» // Изв. АН СССР, ОЛЯ. 1948г. Т. VII, вып. 4. С. 329–340.
- Гофман М. Драма Пушкина. Из записок пушкиниста-эмигранта / Сост., вступительная статья, комментарий М. Филина. М.: ТЕРРА, 2007.
- Денисенко С. В. Пушкин 1937 года. Каким он был? (По материалам советской и русской эмигрантской периодической печати) // Четвертая международная Пушкинская конференция. СПб, 1997. С. 69-72.
- Евгеньев-Максимов В. Е. «Современник» в 40–50 гг. От Белинского до Чернышевского. С приложением статьи Д. Максимова «Современник» Пушкина (1836–1837 гг.). Л.: Изд-во писателей Ленинграда, 1934.
- Есипов В. «Подлинны по внутренним основаниям» // Новый мир, 2005, № 6. С 140-158.
- Ефремов П. А. Библиографические примечания // Сочинения **А. С. Пушкина в 6 тт.** Изд. 3-е/ под ред. **П. А. Ефремова.** СПб., 1880–1881. Т.6. С. 510–526.
- Житомирская С. В. А. О. Смирнова-Россет и ее мемуарное наследие // Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания / Изд. подг. С. В. Житомирская. М.: «Наука», 1989. С. 579-631.
- *Ивинский Д. П. Князь П. А. Вяземский и А. С. Пушкин. Очерк истории личных и творческих отношений. М.: «Филология», 1994.*

- *Ильинский Л. К.* Из мелочей пушкинского комментария: Эпиграмма «В Академии наук…» // Пушкин и его современники. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. Вып. 38/39. С. 205–212.
- К истории русской цензуры. Сообщение А. М. Княжевича // Русская старина. 1872. Т. 5, кн. V. С. 784–786.
- Краснобородько Т. И. Тема «Литература и власть» на страницах второго тома пушкинского «Современника» // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: «Наука», 1989. Т. XIII. С. 122–133.
- Крестова Л. В. К вопросу о достоверности так называемых «Записок» А.О. Смирновой // Смирнова А. О. Записки, дневники, воспоминания, письма / Под ред. М. А. Цявловского. М.: «Федерация», 1929. С 355–393.
- Крестова Л. В. Почему Пушкин называл себя «русским Данжо»? (к вопросу об истолковании «Дневника») // Пушкин: Исследования и материалы. М.- Л.: Изд. АН СССР, 1962. Т. IV. С. 266–277.
- Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л.: «Наука», 1988.
- Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Изд. 2-ое. СПб.: Изд. С. В.Бунина, 1909.
- Лемке, М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб. : тип. С.-петерб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1904.
- Лернер Н.О. «Пророк России» // Лернер Н.О. Рассказы о Пушкине. Л.: «Прибой», 1929. С. 94-107.
- Лотман Л. М. «И я бы мог, как шут ‹. . . ›» // Временник Пушкинской комиссии. 1978. Л.: «Наука», 1981. С. 46–59.
- Лотман Л. М. Проблема «всемирной отзывчивости» Пушкина и библейские реминисценции в его поэзии и «Борисе Годунове» // Пушкин: Исследования и материалы. СПб.: «Наука», 2004. Т. XVI–XVII. С. 131–147.
- Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб.: «Искусство СПБ», 1995.
- Маймин. Е. А**.** Еще о Пушкине и «Московском вестнике» // Пушкинский сборник. Псков: ПГПИ им. С. М. Кирова, 1968. С. 165–190.
- Макашин С .А. Салтыкова-Щедрин. Биография. т. 1. Изд. 2-ое. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1951.
- Мейлах Б. С. «С Гомером долго ты беседовал один...». // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. История создания и идейно-художественная проблематика / Отв. ред. Н. В. Измайлов / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). Л.: «Наука», 1974. С. 213–221.
- Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором // Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. Избранные труды (1898— 1928). СПб.: «Искусство СПБ», 1999. С. 67–130.
- Модзалевский Л. Б. Пушкин – член Российской Академии. (По материалам архива Академии наук СССР) // Вестник Академии Наук СССР. М. -Л., 1937. Вып. 2–3. С. 245–250.
- Наумов А. В. Посмертно подсудимый. М.: «Российское право», 1992.
- Немировский. И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб.: «Гиперион», 2003.
- Непомнящий В. С. Пушкин. Русская картина мира. Серия “Пушкин в XX веке”, вып. VI. М.: «Наследие», 1999.
- Перцов Н. В. Непричесанные мысли о «Непричесанной биографии» // «Новый мир», 1999. № 12. С. 226 –231.
- Петухов Е. В. Об отношениях императора Николая I и А. С. Пушкина. Речь, произнесенная на торжественном акте Юрьевского ун-та 12 дек. 1896 г. проф. Е. В. Петуховым. Юрьев : тип. К. Маттисена , 1897.
- Пиксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник» (1831—1832) // Пушкин и его современники. Вып. V. СПб.: тип. Имп. АН, 1907. С. 30-74.

- Рейсер С. А. Три строки дневника Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л.: «Наука», 1985. С. 146–152.
- Рейфман П. С. Две программы пушкинского «Современника» // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. II (Новая серия). Тарту, 1996. С. 130–155.
- Рейфман П. С. «Таков прямой поэт...» (О стихотворении Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...») // Con amore: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. М.: О.Г.И. 2010. С.537– 552.
- **Рейфман. П. С. М. Е. Салтыков-Щедрин (Творческий путь).** Изд. 2-ое. Тарту, 1973.
- Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты / Подг. к печати и коммент.: Цявловский М. А., Модзалевский Л. Б., Зенгер Т. Г. М.-Л.: Academia, 1935.
- Саводник В. Ф. Заметки о Пушкине. По поводу стихотворения к Н*** // Русский архив. 1904, № 5. С. 140–148.
- Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1892.
- *Смирнов-Сокольский Н. П.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина / Ред. *Н. С. Ашукин*. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1962.
- *Строганов М. В.* Стихотворение Пушкина «Пророк» // Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. ОЛЯ. СПб.: «Наука», 1996. Вып. 27. С. 5—17.
- Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. В 2-х тт. СПб.: Изд-во Суворина, 1889. Т. 2.
- Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. т. 1. Париж: YMCA-Press, 1929.
- Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. 2. Париж: YMCA-Press, 1948.
- Цензура в царствование императора Николая I, ч. VIII // Русская старина. 1903, т.115, Июль. С. 137–157.
- Цензура в царствование императора Николая I, ч. XII // Русская старина, 1903. Т. 115. Август. С. 405–416.
- Цензура в царствование императора Николая I, ч. XIII // Русская старина, 1903. Т. 115. Август. С. 416–437.
- Цензура в царствование императора Николая I, ч. XIV // Русская старина. 1903. Т. 115. Сентябрь. С. 641–666.
- Цявловская Т. Г. «Князь Дундук» // Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента АН СССР Д. П. Благого. М.: «Наука», 1973. С. 91-101.
- *Цявловский М. А.* Тоска по чужбине у Пушкина // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине / АН СССР. ОЛЯ. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 131–156.
- Цявловский М. А. Мицкевич и его русские друзья // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине / АН СССР. ОЛЯ. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 157–178.
- Цявловский М. А. Пушкин по документам Погодинского архива //Пушкин и его современники. 1903–1930. Вып. XIX–XX. Пг.: Изд. Имп. АН, 1914. С. 63–94.
- *Цявловский* М. А. Заметки о Пушкине // Звенья / Под ред. В. Бонч-Бруевича. М.-Л.: Academia, 1936. Т. VI. С. 148-155.
- Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. т. 2. СПб.: Изд-во А. С. Суворина, 1903.
- Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М.: «Книга», 1987.
- Щеголев П. Е. Два перевода «Клеветникам России» // Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.-Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1931. С. 352–360.
- Эйдельман Н. Я. Первый декабрист. М.: Изд-во полит. литературы, 1990.
- Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М.: «Художественная литература», 1979.
- Эйдельман Н.Я. Пушкин: Из биографии и творчества (1826-1837). М.: «Художественная литература», 1987.

- Эткинд Е. Незамеченная книга Пушкина: Перелистывая Современник — сто пятьдесят лет спустя. Revue des études slaves Vol. 59, No. 1/2, 1987г. Alexandre Puskin: 1799–1837, pp. 197–212.

Собрания сочинений

- *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений в 13 тт. М., 1955. Т. 7. Сочинения Александра Пушкина. Статьи первая—одиннадцатая.
- Жуковский В. А. Сочинения в трех томах. М.: «Художественная литература», 1980. Т.3.
- Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 тт. / АН СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького /гл. ред. В. П. Волгин и др. М., 1954–1966. Т. 14: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1859–1860 гг. / ред. Ю. Г. Оксман ; коммент. Г. Н. Антоновой и др. М., 1958.
- Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений в 14 тт. / АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкин. дом) /гл. ред. Н. Л. Мещеряков. М.: Изд-во АН СССР, 1937- 1952. Т. 8, 1952.
- Мицкевич А. Собрание сочинений в 5 тт. / гл. ред. М. Ф. Рыльский. М.: Гослитиздат, 1948–1954. Т. 4. Литературно-критические статьи. Лекции, прочитанные в Лозанне. Из лекций о славянских литературах. М., 1954.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 16 тт. М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.
  Т. 3, кн. 2. Переводы иноязычных текстов. 1949 ; Т. 14. Переписка, 1828–1831. М.-Л. 1941; Т. 15. Переписка, 1832—1834. М.-Л. 1948.
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 тт. / АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкин. дом). Изд. 3-е. М.: «Наука», 1963–1965 гг.